

Станислав ФЕДОТОВ



ПОД ЗНАКОМ АМУРА
БЛАГОВЕСТ С АМУРА

Новый исторический роман

Станислав Федотов

**Под знаком Амура.
Благовест с Амура**

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

Федотов С. П.

Под знаком Амура. Благовест с Амура / С. П. Федотов —
«Издательство АСТ», 2023 — (Новый исторический роман)

ISBN 978-5-17-150334-5

Несколько лет Муравьев добивался разрешения на сплав по Амуру войск для защиты Камчатки – этому изо всех сил сопротивлялся канцлер Нессельроде, панически боявшийся мифических китайских войск на Амуре. Тем временем английская и французская разведки решили действовать напрямую и заставить работать на себя генерала и его жену. Во время пребывания Муравьевых за границей их завербовали. Это убедило императора Николая в необходимости укрепления тихоокеанских рубежей России, и он дал согласие на сплав. Не напрасной, оказывается, была подготовка Муравьева к войне: англо-французская эскадра напала на Петропавловск и потерпела сокрушительное поражение от защитников порта, имевших впятеро меньшее количество пушек и людей. Это была единственная победа России в так называемой Крымской войне. Апофеозом деятельности Муравьева на посту генерал-губернатора стало подписание Айгунского трактата, который утвердил за Россией Приамурье, а затем и Приморье.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

ISBN 978-5-17-150334-5

© Федотов С. П., 2023
© Издательство АСТ, 2023

Содержание

Книга пятая	6
Глава 1	6
Глава 2	16
Глава 3	29
Глава 4	42
Глава 5	54
Глава 6	71
Глава 7	83
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Станислав Федотов
Под знаком Амура. Благовест с Амура:
Поклонный крест, Возвращение Амура
Серия «Новый исторический роман»

Ленинград
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

© Станислав Федотов, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Книга пятая Поклонный крест

Глава 1

1

Они стоят в пятидесяти шагах друг от друга на дороге, укатанной полозьями нарт. Русский генерал-лейтенант и французский майор – офицеры воюющих государств. Враги.

Они собираются драться на пистолетах. Несмотря на разницу в званиях, дуэльный кодекс это позволяет. Поэтому у обоих – секунданты, а в дорогу, как раз посередине между противниками, один из секундантов воткнул саблю – свежий ветер играет ее темляком и змейками гонит по дороге поземку.

Они собираются драться, но причина дуэли – не война между Россией и Францией, а, как это чаще всего бывает, женщина.

Секунданты предлагают решить дело миром, но дуэлянты отказываются. Вернее, отказывается майор; с пылающим от ненависти лицом он заявляет, что должен отомстить человеку, который дважды убил его счастье. Генерал только пожимает плечами:

– Я преднамеренно против этого человека ничего не делал и не питаю к нему враждебных чувств. Он считает себя оскорбленным, он меня вызвал, за ним последнее слово. Хочет стреляться – пусть будет так. Лично я выстрелю в воздух.

Майор слышит его слова. Ярость и ненависть в его глазах перемежаются с растерянностью, в его душе что-то поколебалось, но не успевает оформиться в действие.

– Сходитесь! – кричит секундант генерала, а секундант майора машет платком, время что-то изменить упущено, и противники делают первые шаги навстречу друг другу, поднимая пистолеты.

И вдруг майор застывает, глядя куда-то за спину генерала. Генерал невольно оглядывается.

Из-за темной стены леса вылетела упряжка оленей с нартами. Нарты пусты, но на концах полозьев, держась за дугу задней стенки, стоит фигурка в меховой шубе. На крутом повороте нарты падают на бок, и фигурка кувырком катится в сугроб на краю дороги.

Секунданты, стуча сапогами, опрометью бросаются на помощь: один останавливает упряжку, второй помогает подняться упавшему, отряхивает его шубу. Но человек вырывается так, что шуба слетает с плеч, и бежит к генералу, путаясь в подоле длинного платья.

Это – Катрин.

– Стойте! Остановитесь! Не стреляйте! – кричит она. Бросается на шею генералу и говорит торопливо, сбивчиво, глотая слова: – Не убивай его, дорогой... Никто же не виноват... Я тебя люблю... Я тебя умоляю: не убивай!..

– Я и не собирался, – говорит генерал, стреляет в воздух, отбрасывает пистолет и целует Катрин.

И тут раздается второй выстрел.

Генерал и Катрин одновременно бросают взгляды в сторону майора и видят, как тот, уронив руку с пистолетом – а на синем мундире с левой стороны расплывается темное пятно, – медленно опускается на колени и падает лицом в грязный снег, укатанный двумя десятками нарт.

Черт побери, думает Николай Николаевич, глядя поверх спинки кровати на окно спальни, подсвеченное снаружи газовым светом уличных фонарей, опять этот сон! И похоже, вещей, раз приходит третий раз, один и тот же, с небольшими вариациями. И опять он не смог разглядеть лицо майора – только мундир, черную бороду и развеваемые ветром кудри. Что вообще значит все это – снежная дорога, какая-то дурацкая дуэль с грубым нарушением дуэльного кодекса¹ и – главное! – Катрин, умоляющая не убивать странного майора, неожиданно вставшего на его, Муравьева, пути? Кто он ей, кто она ему? Что за дикие и пошлые обвинения в убитом счастье? Даже дважды убитом! Что за трагический пафос? Чье счастье я убил? Почему дважды? Ну ладно, допустим, первый раз я женился на невесте погибшего. Так, может быть, это кузен Катрин взывает с того света? Да ну, какие глупости! Хотя... мертвым его никто не видел – вдруг остался жив и теперь ищет ее?

У Николая Николаевича пересохло во рту. Черт! Черт!! Черт!!! Он покосился на жену, спящую справа, – как она безмятежно раскинулась на широкой постели! – осторожно встал и подошел к столику у окна, на котором стояли кувшин с чистой водой и стаканы.

Налил полный стакан и стал пить медленными глотками, продлевая удовольствие от влажной прохлады, задумчиво глядел в окно на одетый в строительные леса собор преподобного Исаакия Далматского, покровителя Петра Великого. Тридцать пять лет строится! За это время кто-то успел родиться, вырасти и, может быть, даже умереть, а собор все в лесах. Интересно, архитектору его, этому... Монферрану, снятся вещие сны? Ну хотя бы о том, доживет он до окончания строительства или нет?

О господи, что за дурацкие мысли лезут в голову! Впрочем, какие сны, такие и мысли, не столько дурацкие, сколько тревожные. Во сне была оленья упряжка – значит, дело происходит где-то на севере, разумеется, в России – на Амуре, в Якутии или на Камчатке. Откуда там французский офицер? А, ну да, наверное, уже идет война. Только почему – с Францией? С Англией – понятно, а Франции-то чего надо? Впрочем, неважно, надо срочно отписать Завойко, чтобы укреплял порт, строил намеченные батареи. Что еще? Да, конечно, – вытребовать и отправить поскорее Невельскому бумаги по высочайшему решению относительно перехода в разряд государственной Амурской экспедиции и принадлежности России нижнеамурских земель – чтобы немедленно занимал Кизи и Де-Кастри. Пусть и на Сахалине посты военные поставит. Формально, конечно, это не его дело, поскольку Сахалинская экспедиция выделяется из Амурской и остается в ведении Политковского², но отвечать-то за нее будет он, Муравьев, и пока она развернется, пусть побудет под Невельским. Конечно, тот опять, и вполне справедливо, станет жаловаться, что людей не хватает, – надо послать ему этого добровольца, майора Буссе, и рекомендовать назначить его командиром десанта на Сахалин. Пускай покрутится, а то двадцать пять лет, ни в одной военной кампании не участвовал и уже майор. Видать, есть кому и по головке погладить, и посадить. Только с чего, спрашивается, напросился в Сибирь? Там карьера в кресле не делается. Служить надо с полной отдачей, а иначе зачем ты на белый свет народился?

Вода в стакане закончилась. Он с сожалением посмотрел на доньшко, покрутил в пальцах, но наливать еще раз не стал: известно ведь, малейшее излишество может испортить даже большое удовольствие. Правда, пробежавшие только что мысли ни удовольствия, ни простой радости не доставили, но Николай Николаевич привык жить в постоянном окружении забот и проблем и давно себе не представлял, что может быть иначе. Катрин говорит, это потому, что он уже шестой год не был в отпуске. Наверное, права, как всегда, права. К тому же почечные

¹ Первый выстрел в воздух означал, что сделавший его – трус, это влекло за собой изгнание из общества.

² Владимир Гаврилович Политковский (1807–1867) – генерал, с 1850 г. председатель Главного правления Русско-американской компании.

колики мучают временами так, что хоть на стенку лезь. Вот и государь внял его просьбе и разрешил четырехмесячное лечение за границей, но разве он сможет, пусть и на столь короткое время, отрешиться от своей Восточной империи? Если действительно начнется большая война с участием Англии, Тихого океана она не минует, и Николаю Павловичу волей-неволей придется дать согласие на сплав по Амуру войск и снаряжения для той же Камчатки. А где один сплав, там и второй, и третий. И уже не с войсками, а с переселенцами, ибо давно известно: войсками ничего долго не удержишь. Значит, надо ускорить подготовку: срочно строить паромы, баржи, павозки, лодки, вязать плоты, завозить в Забайкалье военное снаряжение, готовить солдат и казаков... И кому все это поручить? Да-а, в одиночку, пожалуй, не справится никто, придется делить. Допустим, за сплавные средства будет отвечать Казакевич, не зря же он уже два года занимается промером и описью забайкальских рек, текущих к Амуру. Чин повысили – теперь он капитан второго ранга. Ему и карты в руки. А снаряжение, конечно, надо поручить Мише Корсакову – он как раз занимается этим в казачьем войске.

На кровати глубоко вздохнула и зашевелилась Екатерина Николаевна. Муравьев спохватился, что стоит голышом и уже основательно замерз, поставил стакан и на цыпочках вернулся в постель. Катрин словно его и ждала: пододвинулась, прижалась, обняла. Пробормотала:

– Какой ты холодный! – И тут же задышала тихо и спокойно. Видимо, ей ничего тревожного не снилось.

2

Муравьев, наверное, не взял бы на службу майора Буссе, если бы за того не попросил министр уделов Лев Алексеевич Перовский. Высокий хлыщеватый брюнет с бакенбардами под императора и холодными бледно-коричневыми глазами навывкате сразу ему не понравился. Жестокий себялюбец, определил он натуру новоявленного волонтера амурской эпопеи, ради карьеры не пожалеет никого, и в первую очередь – нижестоящих. А этого Николай Николаевич не переносил всем своим нутром и, что греха таить, когда служил в армии, случалось, бил по физиономии офицера, позволявшего себе измываться над нижними чинами. Как ни печально, таких вполне хватало, и он для себя сделал вывод: человек у власти всегда готов унижить нижестоящего, особенно когда ему не грозит что-то получить в ответ. Но тут же сделал неприятное открытие: да ведь он сам, чиня благородную расправу, оказывается таким же человеком у власти. И начал себя осаживать.

С тех пор много воды утекло, многое в жизни изменилось; что было когда-то дозволено быку, теперь стало не дозволено Юпитеру, однако ощущение брезгливого бешенства, которое охватывало его в подобных случаях, осталось где-то на доньшке души и нет-нет да напоминало о себе, и тогда приходилось напрягаться, чтобы не дать ему вырваться на волю. Как, например, в разговоре с Беклемишевым перед отъездом из Иркутска. Он бы, конечно, дал выволочку зарвавшемуся мальчишке, если бы не был так уверен, что уже не вернется. А оставлять о себе память в виде побитой физиономии молодого негодяйчика не хотелось. К тому же Беклемишева, в отличие от Буссе, он выбрал сам – тот окончил Лицей, а Николай Николаевич лицейстов предпочитал университетским но генерал Муравьев ох как не любил публично расписываться в собственной недалёковидности.

Как бы там ни было, сразу же по прибытии Муравьевых в Петербург бывший министр внутренних дел, а ныне – уделов, граф Лев Алексеевич Перовский пригласил супружескую чету к себе – отобедать. На обеде он и представил генерал-губернатору своего протеже – майора Николая Васильевича Буссе.

– Жаждет широкой деятельности, – усмехаясь весьма иронично, сказал Лев Алексеевич. – Пускай молодой человек хлебнет настоящей героической жизни.

– Жизнь у нас не столько героическая, сколько суровая и полная всяческих лишений, – не принял Муравьев иронический настрой хозяина. – Вы меня простите, Лев Алексеевич, не за столом об этом говорить, но у Невельского уже несколько человек умерли от скорбута³. Российско-Американская компания с приходом Политковского совсем совесть потеряла: держала Амурскую экспедицию буквально впроголодь. Слава богу, теперь Невельской с товарищами в ведении государства, и я, со своей стороны, могу в полной мере ему помогать.

– Ну вот видите, дорогой Николай Николаевич, что ни делается, все к лучшему, – благодушно заметил Лев Алексеевич. – И Владимир Гаврилович Политковский не такой уж монстр, как вам кажется, он на весьма хорошем счету у государя императора. Его величество собирается поручить генералу укрепление Кронштадта.

– Дай ему бог удачи на этом поприще, – скривил губы Муравьев. – Только, думаю, Кронштадт мог бы укрепить и кто-нибудь другой, как то сделал Александр Сергеевич Меншиков в Финляндии, а вот Русская Америка вовсе беззащитна, и укреплять ее, получается, некому. Впрочем, если хорошенько подумать, то и незачем. Так что я не совсем прав, нападая на Политковского. Русская Америка будет потеряна нами в ближайшие десять-пятнадцать лет.

Перовский ничуть не удивился столь категорическому заявлению – возможно, тоже об этом подумывал.

– Думаете, Англия наложит свою лапу?

Николай Николаевич покачал головой:

– Вряд ли. Нет, она, конечно, хотела бы, но есть другие. Ближе и сильнее. Пример Калифорнии чему-то должен нас научить.

– А что пример Калифорнии? – поинтересовалась вдруг Екатерина Николаевна. – И что такое – Калифорния?

Лев Алексеевич прикрыл салфеткой невольную улыбку, а Муравьев хмыкнул и нахмурился:

– Друг мой, ты же переписывала набело мою докладную записку государю. В ней я и приводил пример Калифорнии.

– А, да-да, – смутилась и покраснела Екатерина Николаевна. – Я не сразу сообразила, дорогой. Действительно, ты писал, что еще двадцать пять лет назад Русско-американская компания предлагала занять Калифорнию, пока ее не захватили Соединенные Штаты Северной Америки, а правительство России отказалось. Но ведь если бы мы тогда ее заняли, сейчас бы тоже пришлось ее отдавать?

– Нет, дорогая, не пришлось бы. Калифорния снабжала бы продуктами не только Аляску, но и Камчатку, и приносила бы огромную прибыль.

– Помню, помню то предложение, – сказал Перовский. – Я тогда служил сенатором, а потом товарищем министра уделов. – И грустно добавил: – Все посчитали, что Соединенные Штаты доберутся до Калифорнии не раньше, чем через сто лет. В те поры никто и подумать не мог, что они затеют войну с Мексикой и отхватят у нее такой лакомый кусок.

– Американцы – народ практичный, – подтвердил Муравьев. – Их стремление завладеть всем восточным побережьем Великого океана совершенно натурально. Они вот-вот потянутся к Русской Америке, и правительству надо уже сейчас думать, как подороже уступить Аляску.

– Зачем же уступать сугубо российские владения? – неожиданно подал голос майор, дотоле подчеркнуто скромно сидевший напротив Муравьевых. – Случись что, Аляска – прекрасный плацдарм для войны... с той же Америкой.

– А вы собираетесь воевать с Америкой? – возрился на него Николай Николаевич. – Позвольте поинтересоваться, ради чего? Я уж не спрашиваю, какими силами. Хотя бы – ради чего?!

³ Скорбут – цинга.

– Н-ну... – заерзал майор. – Ради величия России.

– Вы полагаете, величие России состоит в том, чтобы загнать на край земли несколько тысяч солдат, которых, кстати, надо кормить, одевать, обувать, оружие им дать – где деньги брать на все это? Угробить их в бессмысленной войне и отдать в конце концов этот край земли победителю, на потеху всему миру – в этом величие России? Глупости говорите, майор! Вы в глаза не видели ту землю, а тоже... прости господи... рассуждаете. Нет уж, пусть Америка останется американцам, а России самым натуральным образом надо осваивать азиатские берега Великого океана и через него торговать с той же Америкой. И если уж воевать, то на этих берегах и за эти берега! Вот это будет ради российского величия!

Муравьев помолчал, в упор глядя на майора, потом повернулся к Перовскому:

– Вы знаете, Лев Алексеевич, что я всегда сам отбираю офицеров и чиновников в свою команду. Но вам отказать не могу. К тому же у меня появились некоторые мысли в отношении майора. Я переговорю с военным министром о его переводе в мое распоряжение. Думаю, он не откажет. А вы, Николай Васильевич, навестите через неделю ко мне, в отель «Наполеон», в десять часов утра. Там все и решим.

Буссе вскочил, щелкнул каблуками:

– Буду рад служить вам, ваше превосходительство!

Муравьев поморщился:

– Не мне, майор, не мне, а государю, Отечеству. И прошу вас, не выставляйте столь уж напоказ свое усердие. Это не всегда уместно. Я привык судить о людях не по умению заглядывать в глаза или пуще того – в рот.

– Садитесь, Николай Васильевич, – мило улыбнулась Екатерина Николаевна, спеша загладить резкость мужа. – Еще будет время поговорить, если вы, конечно, не раздумаете служить у нас в Восточной Сибири.

Майор покраснел и опустил на свое место. Надо же, удивился Муравьев, краснеет; значит, для него не все еще потеряно. А Катюша-то какова: «мы заняли бы Калифорнию», «у нас в Восточной Сибири»! Французская сибирячка! Или – сибирская француженка? А собственно, какая разница? Главное – «у нас в Восточной Сибири»! У нас! Он встретился глазами с женой и постарался этим взглядом передать ей всю свою нежность, хоть мимолетно еще раз объяснить в любви. И она все поняла – глаза ответно осветились изнутри, – да, впрочем, иначе и быть не могло. Они давно уже понимали друг друга с полувзгляда, полуслова.

Это было неделю назад, и вот сегодня Николай Николаевич ждал майора, чтобы объявить о переходе его на службу в Главное управление Восточной Сибири. Екатерина Николаевна спешно писала письма, которые ей необходимо было отправить в Иркутск – Элизе и Марии Николаевне Волконской, а Корсаков и Сеславин готовили пакеты для Венцеля, Струве, Запольского и Невельского: Муравьев отправлял им высочайшие указания по вопросам российско-китайской границы, решения особого комитета и правительства по экспедициям – Амурской и Сахалинской, свои инструкции к дальнейшим их действиям до своего возвращения в Иркутск, что должно было произойти не раньше осени, а то и зимы, ну и множество разных сопутствующих документов. Отдельное письмо предназначалось для передачи военному губернатору Камчатки: главноначальствующий края предписывал генерал-майору Завойко сформировать из надежных во всех отношениях людей десантную группу для отправки на Сахалин под командованием майора Буссе. Правда, самому майору узнать об этом только предстояло.

Он появился, как и было предписано, в десять часов утра. Подтянутый, в парадном мундире, словно ему надлежало получать орден (коего он, кстати, даже самого малого, пока не заслужил). Корсаков и Сеславин удивленно-вопросительно воззрились на вновь прибывшего.

– Лейб-гвардии Семеновского полка майор Буссе, – представился Николай Васильевич. И улыбнулся Корсакову: – Здравствуй, Миша.

– Здравствуй, Николай, – протянул подполковник. – Какими судьбами? Мы с детства знакомы, – пояснил он Сеслаину и обратился снова к майору: – Позволь тебе представить моего товарища по службе.

– Старший адъютант генерал-губернатора майор Сеславин, – слегка поклонился Александр Николаевич. – Чем можем служить?

– Вместе будете служить, – вышел в гостиную Николай Николаевич. Буссе щелкнул каблуками, здороваясь с генералом, тот кивнул в ответ. – Николай Васильевич Буссе, господа офицеры, отныне ваш товарищ, мой порученец по особо важным делам. Я предлагаю теперь же сделать перерыв на чай, за ним все и обговорим.

Все перешли в столовую, маленькую, но вполне уютную, где горничная Лиза уже накрыла скромный чайный стол на пять персон: небольшой самовар, заварной пузатый чайник, блюдо с горкой свежих творожных ватрушек, сахарница с наколотым сахаром и две плоские тарелки с вареньем – вот и все убранство и все угощение.

– Екатерина Николаевна выйдет к чаю? – спросил у Лизы генерал.

– Чашку барыня поставить себе просила, но сказала ее не ждать, – вполголоса, только для хозяина, ответила горничная.

– Хорошо, ступай, чаю мы нальем сами. Рассаживайтесь, господа офицеры.

Те не заставили предлагать себе дважды. Зажурчали ручейки кипятка, зазвякали ложечки, размешивающие сахар, раскладывающие по стеклянным розеткам варенье, влет пошли ватрушки...

Подождав, пока опустеют первые чашки, Николай Николаевич сказал:

– Так вот, первое поручение, Николай Васильевич, к исполнению коего следует приступить немедленно, – это ваша командировка по маршруту Петербург – Иркутск – Якутск – Аян – Петропавловск...

Буссе от неожиданности сделал слишком большой глоток и закашлялся. Корсаков и Сеславин, переглянувшись, дружно покачали головой. Муравьев, заметив это, усмехнулся, но продолжил, обращаясь к Буссе:

– Вы рвались к широкому полю деятельности – думаю, шире некуда. Такое поле возможно лишь в Амурской экспедиции... Александр Николаевич, помогите майору прокашляться – постучите по спине. Ну как, Николай Васильевич, полегчало? Это чай не в то горло попал, бывает. О-о, вот и Екатерина Николаевна пожаловали! – воскликнул генерал и живо вскочил, приветствуя входящую жену. Офицеры последовали его примеру, а Сеславин помог молодой генеральше занять место и налил ей чаю.

Когда все успокоились, Николай Николаевич вернулся к своему наставлению:

– На Камчатке вы с помощью губернатора Завойко набираете команду и вместе с ней следуете к устью Амура. Прибыв в Николаевский, куда переходит база Амурской экспедиции, вы поступите в распоряжение капитана первого ранга Невельского Геннадия Ивановича и возглавите десант на Сахалин. По крайней мере, я ему рекомендую назначить именно вас. Конечно, задание сложное и трудное, но у Невельского легких нет – это вам следует запомнить раз и навсегда. Как и важнейшее правило: никогда, ни при каких обстоятельствах не забывать заботиться о нижних чинах, потому что именно они несут нас к звездам. К тем, что падают на погоны. Ну вот, кажется, и все. А теперь отправляйтесь на свою квартиру. Даю вам на сборы три часа. К двум часам пополудни жду вас здесь. Получите все необходимые бумаги, деньги на дорогу и отправитесь на вокзал. До Москвы проедете на поезде, а там – на перекладных. В провозатые даю двух казаков из моей охраны. Вам все ясно, майор?

– Так точно, ваше превосходительство, – вскочил Буссе.

– Ну раз все ясно, – исполняйте. И Бог вам в помощь!

3

Командующий 20-й пехотной дивизией и исполняющий обязанности начальника левого фланга Кавказской линии генерал-лейтенант Александр Иванович Барятинский наконец-то собрался написать письмо своему давнишнему неприятелю генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву. Мысль сделать это приходила не однажды, после того как в руки ему попала старая докладная записка генерал-майора Муравьева, которую в свое время начальник штаба Кавказского корпуса Коцебу положил под сукно. Муравьев, опираясь на собственный опыт замирения воинственных убыхов, предлагал изменить политику, а значит – стратегию и тактику русских в Кавказской войне. Умноженный генералом Ермоловым принцип око за око, зуб за зуб, когда за одного убитого русского солдата сжигались дотла целые аулы, хотя в чем-то соответствовал внутренним, межклановым разборкам горцев, но, как скоро выяснилось, совершенно не годился для военного воздействия на них извне. Огонь и кровь приводили горцев не к покорности, а наоборот – к объединению против захватчиков. Муравьев доказывал, что, если русские приходят с миром, проявляют в отношениях с горским населением терпение и справедливость, уважают их нравы и обычаи, они достигают гораздо большего по всем направлениям.

Записка эта привела Барятинского в задумчивость, смешанную со сдержанным восхищением, и он немедленно пустился использовать рекомендации на деле. Князь считал себя благородным человеком, а благородный человек, по его мнению, должен уметь быть благодарным, несмотря ни на какие личные неприятия (которые у него взаимно сложились с Муравьевым), поэтому, когда появились первые, весьма впечатляющие результаты от применения советов бывшего начальника отделения Черноморской линии, мысль о письме с выражением признательности стала посещать его все чаще.

Более того, Александр Иванович намеревался подкрепить свою признательность весьма существенным для Муравьева подарком – передать ему безвозмездно портрет супруги Екатерины Николаевны, некогда купленный у Владимира Гау. Эта акварель, одна из лучших работ художника, не раз приводила князя в восторг живостью и изяществом образа мнимой неизвестной, и Барятинский старался не расставаться с портретом при всех своих переездах. Для него была изготовлена специальная рамка со стеклом, которая позволяла либо ставить ее на стол, либо вешать на стену.

Вот только сесть за письмо все как-то не получалось. То пришло вступать в командование Кавказской резервной гренадерской бригадой, а там царили такие разболтанность и разгильдяйство, что впору было завывать от безысходности, однако новый командир показал волчьих клыки в наведении порядка и дисциплины в проведении воинских учений, и бригада уже через три месяца наголову разгромила атаковавшие ее превосходящие силы чеченцев; то, следуя муравьевским рекомендациям, надо было неуклонно продвигаться по Чечне, устанавливая и закрепляя русскую власть на истерзанной войной территории, а именно – помогать восстанавливать разрушенные аулы и создавать населению условия для мирной жизни; то приходилось подолгу беседовать со старейшинами кланов, убеждая их не позволять чеченской молодежи уходить в горы с оружием в руках – пусть остаются в аулах и сотрудничают с русской администрацией, от этого всему чеченскому народу будет только польза и никакого вреда... А редкие свободные вечера полностью поглощала своим любовным искусством графиня Хелен Эбер, которая так привязалась к князю, что сопровождала его во всех кавказских перемещениях и вела себя при этом как вольнолюбивая американская женщина, то есть устраивала не только романтические ночи, но и бессмысленные ссоры, после которых исчезала на какое-то время, а потом появлялась вновь как ни в чем не бывало. Во время ее отлучек князь не единожды намеревался прекратить начинавшие тяготить его отношения, однако к моменту возвращения

графини успевал по ней соскучиться и встречал с искренней радостью и просьбой простить его невольные прегрешения.

Самым пикантным в этой истории было то, что генерал-лейтенант с самого начала все-речь подозревал, что его любовница – шпионка, и что ссоры она устраивает специально для того, чтобы, временно исчезая, передавать противнику добытые из бумаг князя или офицерских разговоров сведения о предполагаемых действиях русских войск. Поэтому он неожиданно менял намеченные боевые планы, перебрасывал свои части из одного места в другое, укреплял до того слабые участки обороны или резко усиливал ударные группы наступления, что нередко приводило к заметным успехам.

Подозрение его значительно укрепилось после того, как однажды вверенная ему бригада, проведя скрытную ночную передислокацию, наутро в трехчасовом бою вдребезги расколошматила многотысячную атакующую группировку чеченцев. Графиня радостно поздравила князя с победой, но в ее радости он явственно почувствовал растерянность. Она даже не удержалась и спросила:

– Дорогой, как тебе удалось так точно определить направление удара этих дикарей?

– Заграничные умы называют это интуицией, радость моя, – подмигнул ей Александр Иванович, – а мы, русские, говорим просто: божья помощь.

Князь произнес последние слова по-русски, а когда графиня вопросительно вскинула брови, перевел их на английский, но немного схитрил, сказав не «God's help», а «God's assistance», тем самым как бы отвел Богу вспомогательную роль.

Хелен немедленно схватилась за этот нюанс:

– Что, Бог у русских всегда ходит в помощниках?

– Да, – хохотнул не отличавшийся религиозностью Барятинский. – Бог у нас, как говорится, на подхвате. – «На подхвате» он снова сказал по-русски, пристально глянув в лицо графини (она в этот момент примеряла перед зеркалом черную бархотку с жемчужной подвеской – подарок князя), и поймал мелькнувшую на мгновение в уголках красивых губ презрительную гримаску. Подумал, она этот чисто русский оборот речи поняла, значит, язык знает, но скрывает, ведет свою игру. Ну что ж, усмехнулся князь, мы уже тоже играем, мадам, по вашим правилам, но в своих интересах. И, не дожидаясь вопроса, продолжил: – Извини, радость моя, я опять выразился по-русски, тебе не понять. Эти слова означают, что мы призываем Бога на помощь, только когда что-то получается не так, как хотелось бы. И Бог как бы подхватывает падающее знамя и несет его к победе. Да простится мне мой невольный пафос.

– Как это просто и мило – не обращаться к Богу перед столь важным деянием, как сражение, а держать его про запас. Вы, русские, пожалуй, большие оригиналы.

– А ваши англичане разве не приговаривают «Бог помогает тому, кто сам себе помогает»? Или ты этой пословицы не знаешь?

– Я не англичанка.

– А-а, ну да, ну да... Но, как известно, большинство американцев – это бывшие англичане. Предприимчивые люди. Эти пословицы – что наша, что английская – как раз для них.

– Ах, если бы пословицы были законами, мир был бы совсем другим.

– А ведь и верно, – хмыкнул Барятинский и с невольным уважением посмотрел на графиню. – В нем больше было бы здравого смысла и гораздо меньше вражды.

– И тебе, мой герой, не довелось бы радоваться победе над чеченцами.

– Тоже верно. А кому-то, любовь моя, – печалиться и злиться по этому поводу.

Забавно, но графиня даже не удивилась столь прозрачному намеку.

Да, пожалуй, именно после этого разговора генерал-лейтенант Барятинский вполне уверовал, что делит ложе – как там высоким штилем? – с заклятым врагом, но поскольку на этом ложе он никогда о делах не говорил, а планы, о которых графиня могла узнать, не забывал кардинально менять, то и заклятый враг оставался в его глазах и чувствах прелестной женщиной,

способной дарить потрясающие минуты наслаждения. Тайная игра продолжалась, и командир бригады, а затем начальник дивизии, шел от очередной победы военной к победе в области сугубо гражданской – по закреплению российской администрации на отвоеванных землях, и наконец ему стало нестерпимо стыдно, что он успешно пользуется опытом и советами Муравьева, но так и не написал ему уважительно-благодарственное письмо.

В конце концов это заставило его взяться за перо. Конечно, знай Александр Иванович, что через двадцать лет они, два генерала – один от инфантерии, а другой даже фельдмаршал – будут как добрые старые приятели баловаться коньячком с кофеем в парижских кафе и вести долгие приватные беседы о прошлом и будущем Отечества, в которых весьма заметное место займет Кавказская война, – да-да, знай он об этом, ни за что на свете, ни за какие коврижки, как говаривал дядька-солдат, его первый воспитатель, не стал бы взваливать на себя тяжелейший груз сочинения благодарственного письма. Да еще такому болезненно самолюбивому человеку, как Муравьев. Но – что поделать! – будущее сокрыто даже от генералов.

«Милостивый государь Николай Николаевич!» – вывел князь первую строчку и надолго задумался: что дальше? Брать ли сразу, как говорится, быка за рога и в учтивых выражениях изъявлять благодарность за ценные советы или начинать *ab ovo*, то бишь с самого начала – как нашел докладную записку, как прочитал из чистого любопытства, *et cetera... et cetera...*⁴ «Что это меня на латынь-то пробило? – усмехнулся над собой Александр Иванович. – Никогда торжественной мертвечиной не увлекался, а тут – на тебе! Сама тема обязывает вставать на котурны, что ли? Да ну их к бесу! Напишу как солдат солдату, без обиняков и экивоков...»

И перо побежало по бумаге свободно и легко. Как это, оказывается, просто, когда не надо плести словесные кружева, чтобы не дай бог не сверзиться с аристократических высот; когда по-русски крепкое словцо само выпрыгивает, чтобы обложить вечно завидующих наградам боевых командиров штабных крыс, которые упрятали в бесконечно долгий ящик столь важные советы опытного человека; когда наконец можно сказать искреннее спасибо этому человеку, а в завершение не чинясь попросить прощения за прежние вольные и невольные обиды...

– Саша! – оторвал князя от письма милый его сердцу бархатный голос Хелен. Правда, он отлично знал, как этот мягкий бархат может в одно мгновение превратиться в жесткую дерюгу, если его хозяйке что-то вдруг оказывается не по нраву, и в любовника самым естественным образом мечутся громы и молнии, графиня исчезает на два-три дня, а потом возвращается, и снова нежнейшим бархатом переливается ее призывный голос. Вот как сейчас: Хелен опять вернулась из отлучки, вызванной (по крайней мере, внешне) ее обидой на князя за то, что тот не наказал офицера, который, по мнению графини, оскорбительно небрежно взглянул в ее сторону. Вернулась, потупив глаза, и не дала ему закончить письмо – утянула в постель, от чего Александр Иванович не в силах был отказаться.

А рано утром неизвестно откуда на лагерь свалился конный отряд чеченцев.

Дивизия временно стояла в междуречье Хулхулау – Хумыс, там, где лесистые горы плавно переходят в заросшие кустарниками холмы. Низины между холмами с вечера затягивало пенящимся, как выдержанный кумыс, туманом, который за ночь настаивался над текущей водой, и к рассвету палатки лагеря полностью скрывались в сизо-молочной мгле. Из-за нее приходилось удваивать посты по периметру лагеря, а линии вдоль палаток регулярно прочесывать подвижными группами из двух солдат во главе с офицером или опытным унтером. Оттуда, из этой мглы, неожиданно вынырнули всадники в черных бурках и мохнатых шапках и с гиканьем, свистом и выстрелами ворвались сразу в две линии. Два поста и один патруль, оказавшийся поблизости, были сметены в мгновение ока. Однако вышколенные начальником дивизии солдаты не поддались панике: выскакивая из палаток в одних подштанниках, они тут же вступали в бой, кто пулей, кто штыком встречая незваных гостей.

⁴ *Et cetera* – и так далее (*лат.*).

Сам Барятинский и Хелен проснулись с первым выстрелом. Князь не стал терять времени на брюки и мундир, а набросил на голое тело и подвязал кушаком атласный халат с китайскими драконами – кстати, подарок графини, – схватил два постоянно заряженных пистолета и босиком выскочил наружу, приказав Хелен не высовываться и ни в коем случае не зажигать света.

Чеченцы прошли весь лагерь насквозь и скрылись в сторону Хумыса, не оставив на месте схватки ни одного убитого или раненого. Хотя солдаты уверяли, что таковые должны были быть: в кого-то стреляли в упор, кого-то штыком пырнули. Да и сам князь, перебегая от палатки к палатке, успел разрядить свои пистолеты и был уверен, что как минимум ранил пару нападавших.

– Видать, крепко к седлам себя привязали, – заключил седоусый ветеран, сопровождавший Барятинского при осмотре последствий нападения.

Князь задумчиво кивнул:

– Странная какая-то операция. Шуму много, а результатов... – Он хотел сказать «ноль», но споткнулся: результаты, а именно потери в дивизии, все-таки были – и убитые, и раненые. Немного, но и тех жаль, с горечью подумал Александр Иванович и тут же вроде бы некстати снова вспомнился Муравьев, тогда еще молодой поручик, устроивший выволочку прапорщику Барятинскому за измывательство над солдатом. Тот урок тоже пошел на пользу – в отличие от многих других командиров начальник дивизии берег своих подчиненных, а те платили ему любовью и верностью.

– Вам бы обуться, ваше превосходительство, – сказал подошедший майор, командир батальона, чьи солдаты в это утро несли караульную службу.

Князь взглянул на свои заляпанные грязью ноги и криво усмехнулся:

– Успею. Ты лучше скажи, сколько человек потерял?

Майор вздохнул:

– Двое убитых, один раненный в плечо, навывлет. – Голос его был мрачен, и князь понимал почему. В недавнем сражении батальон лишился едва ли не трети солдат и офицеров, каждый человек на счету, а тут этот, можно сказать, афронт.

Генерал похлопал командира батальона по плечу, по-товарищески ткнул его кулаком – утешься, брат, могло быть хуже – и в сопровождении седоусого ветерана пошел к своей палатке.

И тут оказалось, что еще одним результатом кратковременного сражения стало исчезновение графини Эбер. В уголке, где стояла кровать, палатка была распорота чем-то острым – кинжалом или саблей, мундир генерала проткнут, наверное, тем же оружием, платья Хелен разбросаны.

– Твою мать! – только и сказал князь, увидев разгром спальни.

– Никак похитили девицу, – высунулся из-за его плеча все тот же ветеран.

Князь внимательно осмотрел разрез в брезенте: его края были вывернуты наружу, стало быть, резали изнутри.

– М-да, похитили, – подтвердил он. И добавил довольно странно: – Сбылась мечта идиота.

Александр Иванович еще раз окинул взглядом палатку и не увидел на рабочем походном столике портрета Муравьевой. Тут он выразился уже более витиевато, хотя смысл словесных кружев свелся к простому – до чего же глупы в своей ревности бывают даже умные женщины. Но князь и предположить не мог, какова настоящая причина похищения.

...А письмо все-таки дописал и отправил. Правда, получил его Муравьев едва ли не через год – когда вернулся в Иркутск из-за границы.

Глава 2

1

На Петровском чугунолитейном и железоделательном заводе начальствовал Оскар Александрович Дейхман, тридцатитрехлетний горный инженер, назначенный управляющим еще при генерал-губернаторе Руперте. С немецкой педантичностью Дейхман быстро навел такие порядки, что завод уже пять лет как числился только на хорошем счету, выпуская железо и сталь в листах и ковочных болванках, отливая чугунные горшки, сковороды и прочий хозяйственный инвентарь. Посетив его в свой первый объезд Забайкалья, новый главноначальствующий Восточной Сибири остался весьма доволен, а посему поручение делать железные части первого парохода, естественно, не могло быть дано никому другому. Оно и не вызвало у Оскара Александровича никаких особых волнений. А вот второе задание, куда более важное – изготовить паровую машину для «Аргуни» (так решено было назвать амурский кораблик-первопроходец), – заставило управляющего глубоко задуматься, а по основательном размышлении обратиться к генерал-губернатору с письмом, в котором высказывались большие сомнения в технической возможности решить своими силами эту задачу.

«Ваше превосходительство, – писал горный инженер, несомненно, хорошо разбирающийся в механике, – для эффективной работы паровой машины всенепременно должно быть точное соответствие диаметров поршня и цилиндра, их взаимная высокая притертость. В Англии это достигается обработкой поверхностей упомянутых поршня и цилиндра на специальных токарных и шлифовальных станках, кои на нашем заводе отсутствуют...»

Генерал не замедлил откликнуться и прислал на завод комиссию в составе титулярного советника Шаруби-на, капитана второго ранга Казакевича и мичмана Сгибнева, а также подпоручика Майорова. Капитан, старший по чину и к тому же назначенный Муравьевым ответственным за строительство, собрал в кабинете управляющего совет, на который по просьбе Дейхмана были приглашены заводские мастера – литейщики Белокрылов и Бакшеев и старший по слесарному делу Павлов. Приглашенные явились по-праздничному одетые в чистые штаны и рубахи с жилетками, тщательно причесанные, даже при часах, цепочки от которых свисали из жилетных карманов. Оно и понятно: не каждый день их приглашают на столь высокое совещание.

Мастера сели за длинный стол рядом с управляющим и начальниками заводских отделов, напротив приезжих, сложили руки на зеленое сукно скатерти и замерли в молчаливом ожидании.

Казакевич, которого Дейхман усадил на свое место во главе стола, постучал по столу карандашом – так, для порядка, поскольку шума и разговоров не было – и открыл заседание.

– Господа, мы собрали вас не для обсуждения, строить или нет паровую машину и, собственно, сам пароход – решение принято, курс проложен, и генерал-губернатор отступить от него не собирается, ибо того требуют государственные интересы. – Петр Васильевич заговорил напористо, в интонации, не предполагающей возражений. Она изначально надавила на приглашенных, заставила их внутренне съежиться и заранее покориться неминуемому. Казакевич это заметил; по своему морскому опыту он знал, что неверно выбранный галс приведет к потере ветра, и потребуются аврал для всей команды, и потому немедленно смягчил тон: – Нам, господа, надо обсудить, *как* строить. Покупать машину в Европе – нет денег. Одна была куплена и исчезла во время перевозки. Почему и куда – никто не знает, следов не найдено. Кроме того, теперь просто нет и времени. Приближается война, этот шторм нас не минует, и всем следует по местам стоять. Надо готовить к обороне Камчатку и устье Амура, следовательно – перево-

зять туда войска и снаряжение. Нужен транспорт, и поэтому я основал в Сретенске судостроительную верфь. Там уже делают лодки, баржи и павозки, в Атамановке и Шилке вяжут плоты. Но это транспорт для сплава. А сегодня потребны суда, которые умеют ходить против течения. И не на веслах или парусах, а силою машин! Я с товарищами – Александр Степанович Сгибнев один из них, прошу любить и жаловать, – Казакевич указал на мичмана, тот привстал и поклонился; приглашенные с едва заметным интересом посмотрели на него, – два года занимались гидрографией Ингоды, Онона и Шилки и можем с уверенностью сказать, что пароход нужен с особенно малой осадкой и высокой маневренностью. Поэтому первоначальный план взять за образец построенный в Англии пароход «Волга», принадлежащий обществу «По Волге», не годится. Судно слишком велико: тридцать сажен в длину, девять в ширину, машина – двести лошадиных сил. Впрочем, машина такой мощности была бы для нас хороша, но – слишком уж тяжела! Подобный пароход, кстати, строили на Шилкинском заводе в деревянном варианте, но он сгорел. – Казакевич тут подумал: может быть, даже хорошо, что не построили, не то сейчас мучились бы, что с ним делать, – невольно усмехнулся кощунству такой мысли, однако тут же спохватился и продолжил: – А вместе с ним, понятное дело, сгорели и почти все деньги, что дал на постройку покойный купец Кузнецов. Но в том же пароходстве есть два грузовых судна, «Москва» и «Криуши», построенных на верфи в Симбирской губернии, вот они в качестве образца нам очень даже подходят. Восемнадцать сажен в длину, две мачты с парусной оснасткой и машина на шестьдесят сил – в общем, самое то! Поэтому предлагается: командировать в Симбирск человека за справочными книгами и чертежами судна и машины, а пока они доставляются, нам тут следует выйти на ветер, коим будем идти в решении нашей задачи. Я имею в виду изготовление паровой машины. А решить эту задачу мы должны обязательно!

Петр Васильевич помолчал, оглядывая столь разных людей, пожалуй, впервые собранных за одним столом, и обратился к приглашенным:

– Что скажете, господа мастера?

– Может быть, сначала выскажутся господа управляющий и начальники отделов? – вмешался титулярный советник, сделав ударение на слове «господа», намекнув тем самым на неуместность обращения к работным простолюдинам как к благородным.

Казакевич недовольно встопорщил висячие на манер Невельского рыжеватые усы:

– На собраниях морских офицеров, Шарубин, принято сначала заслушивать мнение младших по чину Мы все вместе будем строить корабль, следовательно, можем считаться одной командой, и младшие по чину здесь – мастера. По чину, но не по значению. Они – главные исполнители, и они сейчас большие господа, чем мы с вами. – И снова обратился к приглашенным: – Мы вас слушаем, уважаемые. Кто первый?

– Наверное, мастер Белокрылов? – подсказал управляющий заводом. По-русски он говорил совершенно правильно, и только четкое произношение выдавало в нем обрусевшего немца. – Давай, Григорий Иванович, скажи, как ты думаешь исполнять указание генерал-губернатора.

Старший из мастеров, лысоватый, краснолицый, седобородый мужичок, гулко откашлялся в кулак и заговорил сипловатым баском:

– Так это... мы ж с тобой, Ляксандрыч, мозговали... – Дейхман согласно кивнул; Шарубин брезгливо поморщился – видать, не понравилось чиновнику простецкое обращение работника к начальнику, – однако смолчал. А мастер говорил, ни на кого не глядя, обращаясь к управляющему: – Лить-то, само собой, надобно по модели, это мы сможем... а вот с обработкой... – Он снова откашлялся – то ли в горле першило, то ли все-таки от смущения, и торкнул локтем сидевшего рядом Павлова: – Ну-к, Данилыч, ты ж слесарь... тебе, само собой, заготовки и обрабатывать.

Павлов, крупный мужик с большими руками, ладони которых походили на лопаты (видно, что человек давно и постоянно имеет дело с тяжелым ручным трудом), обратился не к Дейхману, а к Казакевичу, резонно посчитав, что управляющий и так все знает.

– Обрубку литников и грубую шлифовку поделок мы, ваше высокоблагородие, ведем вручную, но, в общем, исправно, а вот шабровку и полировку делать пока не приходилось. – Речь Павлова была, не в пример белокрыловской довольно гладкой, можно сказать, тоже шлифованной. – Для шабровки инструмент нужен, приспособления, а для полировки паста требуется... как это называется?.. да, тонкоабразивная, а вот где ее взять – даже не знаю.

– А инструмент для шабровки есть? – спросил Казакевич. – И что за штука такая – шабровка?

– Ну... шабровка – это, в общем, выравнивание поверхности ручным инструментом – шабером. Тонкая работа! Шаберы разные бывают... Их у нас нет, но можно купить. Может быть, где пароходы делают – в Симбирске там или где. Был бы тут слесарь-инструментальщик, сами бы сделали.

– Слесаря-инструментальщика у меня нет, – сказал Петр Васильевич. – Подозреваю, что и во всей Восточной Сибири такового не найти. Но есть человек, который, как меня заверил генерал-губернатор, будет нам весьма полезен. Потому как голова его хорошо варит. Он скоро приедет сюда с Шилкинского завода. У кого-то еще есть какие-то соображения? – оглядел капитан сидящих за столом. – Нет? Тогда, Оскар Александрович, немедленно командуйте ответственного и толкового человека в Иркутск к исправляющему должность генерал-губернатора генерал-майору Венцелю, а от него далее – в Петербург и Симбирск, чтобы закупить все, что возможно, для строительства машины и парохода. Но честно скажу: сколько отпустят денег – не знаю.

– Я полагаю, Петр Васильевич, – четко проговорил Дейхман, – его превосходительство командировал бы для этой цели именно меня.

– Ну, так и флаг вам в руки! Как у нас на флоте говорят: прямо руль и ходом! А мы будем кумекать насчет шабровки и полировки.

2

Степан Шлык в Петровском заводе квартировал у складной да ладной вдовушки Матрены Сыромятниковой. Отдавал хозяйке деньги, которые зарабатывал на строительстве паровой машины и железных частей парохода «Аргунь», и жил припеваючи на всем готовом. Можно сказать, семейно жил, только что невенчанно.

Муж Матрены, с которым она, как сказала потом Степану, промышкалась полтора десятка лет (а выдали ее в шестнадцать), сызмала работал на лесозаготовках, на молевом сплаве⁵, и погиб при разборке залома – сорвался с бревна и не выплыл. Тело с разбитой головой нашлось на три версты ниже по реке. Матрена, естественно, по-вдовьи поплакала, но не особо сильно и долго: детей с Митрофаном не нажили, а хозяйство большое – две лошади, две коровы, пять штук овец с бараном, кабанчик на откорме, птица разная – горевать некогда, только успевай поворачиваться. Ну ей не привыкать – оно, это хозяйство, и так управлялось ее руками.

Степана определил к ней на постой староста села (Петровский завод числился селом, хотя благодаря железодельной мануфактуре мог бы считаться городом). Узнав из сопроводительных бумаг, что мастер Степан Онуфриевич Шлык переведен на Петровский завод по прямому указанию генерал-губернатора, староста проникся к прибывшему почтительным уважением.

⁵ Молевой сплав – сплав леса (бревен) россыпью.

– Это, ить, лучшая фатера, господин мастер, – говорил он, лично ведя Степана к месту жительства. Они шли по высокому берегу большого заводского пруда; водную гладь разрезали, важно фланируя (иначе и не скажешь), многочисленные компании уток и гусей, между которыми то и дело затевались перепалки, и Степан посмеивался в рыжую бороду, глядя на них. Он любил живность, и сердце его радовалось такому изобилию.

– А уж хозяйка, скажу я вам, ить, чистая ягода-малина! – продолжал ворковать староста. – Только-только траур по мужу сняла. И расцвела-а-а – хучь завтрева под венец! Увидите, господин мастер, и обомлеете!

Это он попал в самую точку. Видно, углядев из открытого по случаю тепла окошка, что староста ведет к усадьбе статного рыжебородого мужчину в черной поддевке и черных плисовых шароварах, в юфтевых сапогах в гармошку да еще и в картузе с лаковым козырьком (Степан-то давненько забыл про армяк и лапти), хозяйка лебедушкой выплыла за калитку – в нарядной кике и расписном платке, накинутом на округлые плечи. Грудь высока и широка – есть куда голову приклонить, скуластое по-гурански лицо свежо, щеки туги и румяны, брови – что хвосты соболя обмахнули прозрачные серо-зеленые глазищи... Есть от чего обомлеть сорокапятилетнему мужику, который пятнадцать лет после смерти любушки своей Арины в сторону баб даже и не глядел. Жизнь должна все ж таки исчерпать скорбное время и потребовать то, что отложено. Степан не обомлел, однако явственно ощутил, как хорошо заточенный фуганок снял стружку с одеревеневшего, едва ли не замшелого сердца и открыл его сокровенное естество.

– Вот, Матрена, постояльца к тебе привел, – объявил староста так торжественно, словно одаривал хозяйку неслыханной милостью. Матрена повела томным взглядом, поклонилась. Степан крикнул – ох и бесовка! – и наклонил голову в ответ. Староста все заметил, однако с тона не сбился. – От самого, ить, генерал-губернатора на наш завод послан мастер Степан Онуфриевич – пароход для Амура ладить.

– Чавой-то? – уставилась на старосту Матрена.

– Паро-ход. Ну, ить, павозок такой, с паровой машиной и колесами.

– По земле, что ль, ходит?

– Пошто по земле? – оторопел староста.

– Дак сам говоришь – с колесами.

– Водяные колеса, дура! Он, ить, имя по воде гребет заместо весел.

– И как же он до Амура догребет, ежели наши реки в Байкал текут? Вот и выходит, что по земле иттить придется.

– Да ну тя к едрене фене!

Степан свой дорожный сундучок поставил на землю и стоял, заложив руки за спину, в разговор не вмешивался, посматривал весело то на старосту, то на хозяйку. Он видел, как озорно блестели глаза Матрены, догадывался, что непонятки она разыгрывает специально для него, и это его забавляло. Староста, похоже, тоже понял, что над ним смеются, и рассердился:

– У тя, Матрена, одне веселушки на уме, а ить Степан Онуфриевич с дороги дальней, ему забота и ласка надобны. Не-е, зазря я надумал к тебе его определить, пойду, однако, к Линховоинам. Оне хучь и буряты...

– Но-но-но! – перебила Матрена старосту. – Я те покажу Линховоинов! Ко мне привел – значит, так тому и быть!

Глаза ее сузились, руки уперлись в бока, голова наклонилась, выставив рожки кики, так что староста невольно отступил на шаг и махнул рукой:

– Ну ладно, ладно, я ить пошутил, нетель ты бодливая! Прймай постояльца-то.

Матрена так и расплылась:

– Проходите, Степан Онуфриевич, проходите. Меня Матреной кличут.

Степан подхватил свой сундучок, в котором помимо любимого, еще тульского набора столярных инструментов лежала полотняная рабочая одежда да пара чистых рубах, поклонился хозяйке:

– А по батюшке как будете?

– А чего? Просто – Матрена.

– Ну и я тогда, значитца, просто – Степан.

– А и ладно. – Приветливо улыбаясь, она пропустила Шлыка в калитку, а старосте, который сунулся было следом, захлопнула створу перед самым носом: – Ты, милой, ступай к своим Линховоинам. Мы тут и без тебя обойдемся.

Через час, сидя вдвоем за празднично накрытым столом – Матрена успела испечь большой пирог с омулем, а уж натаскать из погреба солений-варений да настоечек дело вовсе нехитрое – и выпив по чарочке за приятное знакомство и начало новой жизни, хозяйка все же поинтересовалась: как же это – строить пароход для Амура, ежели доплыть до него по воде нет никакой возможности?

– Строить-то его, Матрешенька, будем, значитца, на Шилкинском заводе. – Разомлевший Степан сам не заметил, как перешел от сдержанно-дружелюбного тона к ласково-задушевному. – На Петровском сделаем самое главное – паровую машину. Ну и все остатнее, что, значитца, из железа. Потом это все перевезем на Шилку и уж там соберем как следоват. Вот так, милая моя хозяйюшка.

Степан-то своей ласковости, которую душа уже многие годы копила, не заметил, излил ее на Матрену как бы нечаянно, а женщина встрепенулась, потянулась к нему одиноким истосковавшимся сердцем. Правда, тут же испугалась – а вдруг он подумает о ней что-нибудь худое! – и только спросила:

– Так вы, Степан Онуфриевич, недолго тута пробудете? Вас, поди-ка, ждет кто-нито в Шилкинском Заводе али еще где?

И была в ее, в общем-то, естественных вопросах такая изнаночная тонкость, что Степан ощутил душевную неловкость, задумался, обведя внезапно затуманившимся взором чистую горницу, освещаемые лампадкой лики Богоматери и Николы Чудотворца на иконах в красном углу, простенькие белые занавески на окнах, из-за которых выглядывали какие-то цветы в глиняных горшках, встретился с Матрениными вопросительно-встревоженными глазами, и острое желание навсегда остаться здесь, в этом доме, с этой ладной вдовицей, укололо сердце.

– Сынок у меня, Гриня, в казаки записался, жена у него Танюха, сноха, значитца, и внученька Аринка, годок ей скоро, в Газимуровском заводе обретаются, – медленно и негромко сказал он, не разрывая сомкнувшихся взглядов. – Вот они меня завсегда ждут. А боле, значитца, нету никого. – Явственно увидел, как растворяется настороженность в глазах хозяйки, а в глубине их загораются теплые огоньки, и добавил: – Пробуду я здесь долго, пожалуй, до Рождества, опосля уеду – пароход в Шилкинском заводе строить.

Замолчал, опустив русоволосую голову, задумчиво повертел в крепких узловатых пальцах стеклянную чарку; Матрена спохватилась, налила из штофа своедельной кедровой настойки – ему и себе, но Степан не спешил поднимать стаканчик.

– А ежели тута поглянется, вернетесь? – осторожно спросила она, заглядывая ему в лицо.

Он опять ответил встречным взглядом, улыбнулся, встопорщив рыжую бороду, и вдруг ласково провел мозолистой ладонью по ее черным, без единой сединки, гладким волосам. Матрена перед застольем кик убрала, волосы на затылке стянула узлом, спрятав его в кружевную шлычку, расписной платок оставила на плечах; от мужской руки она не уклонилась.

– А мне, Матрешенька, уже глянется...

Она сняла его руку со своей головы, слегка пожалала и направила к налитой чарке. Подняла свою, наполовину полную вишнево-ореховой, терпко пахнущей смолой жидкостью:

– Вот за это, Степа, и выпьем.

А ночью разметавшийся на мягкой постели Степан вдруг проснулся – легко и сразу. В комнате было совершенно темно: луна на небе еще не народилась, а красноватый отсвет заводских плавильных печей скрывался за деревьями с другой стороны дома. В горнице тикали часы-ходики, словно в далекой кузнице стучали по наковальне легкие молотки: тук-тук, тук-тук, тук-тук... Но Степану показалось, что это гулко стучит его сердце. Он протянул в сторону голую руку – спал-то без рубахи, в одних подштанниках – и ощутил, что обхватил чьи-то ноги, прикрытые тонким ситцем. Матрена в ночнушке стояла возле кровати. Даже не задумываясь, что делает, Степан решительно повлек ее к себе и тут же подвинулся, освобождая место рядом с собой.

Запоздало подумал, что она упадет, но Матрена не упала, а уперлась руками в его плечи и мягко опустила грудь на грудь, осыпав его лицо длинными волосами. Он вдохнул их запах, чуть отдающий цветущей ромашкой, ткнулся губами в ее щеку, нашел по жаркому дыханию рот и припал к нему, как к животворному роднику.

Ночь пролетела, будто корова языком слизнула: кажется, вот только что была темень непроглядная, а уже и зорька утренняя заглянула своим взором нескромным, как девчонка любожаждущая, в окошко незавешенное, высмотрела постель взбулгаченную, а на ней – двоих обнаженных, слившихся воедино, зарозовела от смущения и прикрылась облачком кисейно-легким...

Вот так Степан Онуфриевич Шлык на сорок шестом году жизни вновь обзавелся, можно сказать, своим домом.

3

Работа по заданию генерал-губернатора шла полным ходом. Дейхман вернулся из командировки в Петербург и Симбирск с чертежами плоскодонного парохода «Москва» и собственноручно изготовленными эскизами английской паровой машины. Привез он и набор шаберов и токарных резцов из особопрочной стали – где и как их раздобыл, Оскар Александрович широко не распространялся. Только за чашкой чая узкому кругу мастеров поведал, что заезжал в Пермской губернии на Юговский металлургический завод к своему однокашнику по Горному институту Павлу Матвеевичу Обухову, который изобрел новый способ литья стали.

– Вы, друзья мои, представить не можете упругость этого металла, – рассказывал управляющий внимательно слушавшим его мастерам. – Павел Матвеевич показал мне шпагу, сделанную из него; он свернул ее в кольцо, и клинок не сломался. – Оскар Александрович сделал многозначительную паузу, отхлебнул из чашки и оглядел лица, на которых было крупно написано: «И что потом?!» – А потом отпустил – клинок разогнулся и снова стал прямым и ровным, как и раньше! – торжествуя закончил управляющий.

Мастера одним разом выдохнули – ух, ты-ы!..

– Вот бы нам такую сталь! – мечтательно протянул Егор Данилович Павлов.

– А мы ее лить не могём? А, Ляксандрыч? – поинтересовался Белокрылов.

– К сожалению, нет, – покачал головой Дейхман. – Павел Матвеевич еще не получил привилегию⁶ на ее изготовление, и рецептуру должен держать в секрете. Да я думаю, и после получения привилегии секрет не раскроется. Это же пахнет большими, даже очень большими деньгами! А кроме того, Обухов сделал из этой стали ружейный ствол – и тот получился много лучше немецких и английских. Так что его изобретение уже имеет государственное значение. Им заинтересовались военное и морское министерства. Армии и флоту нужны ружья и пушки.

– А паровые машины, что ль, не нужны? – подал голос мастер Матвей Бакшеев, щуплый, большеголовый мужичок. – Я в газетке читывал: в той же Англии на пароходы пушки ставят.

⁶ Привилегия – патент.

– А паровые машины по-прежнему будем покупать в Англии, – грустно сказал Оскар Александрович.

– Ага, ага, – ухмыльнулся слесарь Дедулин. – Как зачем с ей воевать, так она нам и продаст... хвост свинячий с кисточкой. Самим надо делать!

– Так делайте! И сделайте лучше английских! – подзадорил мастеров управляющий.

– А мы – чё? Мы и делаем... как могём, – отозвался главный, Белокрылов.

– А надо – лучше!

Пробные отливки поршней и цилиндров по восковым моделям сделали еще до приезда Шлыка. Но получились они рябыми – множество мелких раковин покрывали поверхности скольжения. Как предположил Григорий Иванович, из-за большого количества расплавленного воска. Да и качество самого воска оставляло желать лучшего. Вероятно, по той же причине и окружности оказались искаженными настолько, что не выправить и на токарном станке.

Тут-то и пригодились рукодельные таланты столяра Шлыка, прибытие которого все поначалу восприняли с настороженным недоумением. Помимо того что чужак, а чужая душа, как известно, потемки, так еще и мастер по дереву, которое на заводе использовалось лишь на опоки, а для их сколачивания годился и старый плотник Акимыч. Однако Степан быстро доказал, что генерал-губернатор направил его на завод не по глупой начальственной прихоти, а с дальним и весьма точным прицелом. Оглядевшись на заводе и ознакомившись с результатами первых отливок, он предложил использовать деревянные макеты цилиндра и поршня. Одни – для восковых моделей, другие, соответственно размерам, – непосредственно для литья металла.

Литейщики встретили его слова откровенным смехом.

– Ты чё, паря, об свой рубанок шибанулся, чё ли? – вытирая слезы, спросил Григорий Иванович. – Да жидкая сталь от твоих деревяшек одне угольки оставит. – И снова зашелся в дребезжащем смехе.

– Это, значитца, смотря какое дерево брать, – не обижаясь на насмешку, степенно сказал Степан.

– Да какое ни бери, все едино – дерево!

– Не скажи. Мореную в воде древесину не каждый, значитца, огонь возьмет.

– Это ж сколь ее морить надобно! У нас на то и времени-то нету.

– Да ее, мореной многолетней, завались! Надо только выбрать подходящую.

– Это где ж ты, паря, ее видал?

– Видать пока, значитца, не видал, но – знаю. Сказывала моя Матрена, что на реках сплавных дно просто-напросто топляками выстлано – вытаскивай да используй по надобности. А я ей верю – она по молодости с мужем на сплав хаживала. Так что стоит поискать.

– Ну, ищи, вытаскивай – да пупок, смотри, не надорви.

С тем сердечным пожеланием мастеров Степан и отправился искать мореную древесину. Да еще с помощью Матрены Сыромятниковой, которая взялась быть проводником по молевым речкам. И ведь нашел, привез на заводской двор несколько тяжелых бревен, пилить их замучился – твердая, подобно камню, древесина за несколько прогонов тупила зубья пил так, что их приходилось снова и снова затачивать, но все-таки заготовил несколько чурбаков, из которых своими старыми испытанными столярными инструментами выдолбил и вырезал макеты цилиндров и поршней – любо-дорого посмотреть. И поверхности отливок получились гладкие – без раковин, наплывов и прочих неприятностей, по крайней мере, крупных. А мелкие уберут слесари – той же шабровкой и полировкой. Кстати говоря, пока Степан работал с макетами, Дедулин испробовал для полировки разные виды глин из окрестностей Петровского завода и, похоже, нашел подходящий состав. Конечно, не то, что у англичан, но работать можно.

Казакевич был страшно доволен результатами, особенно отливками по макетам Шлыка. Единственно, что озаботило – это всего лишь разовая их пригодность, все-таки поверхность дерева хоть немного да обугливалась, и для повторной отливки макеты уже не годились.

– Ничаво, – добродушно сказал Степан, – я их сколь надо, столь, значитца, и наделаю.

Вечером, после работы, он рассказал Матрене об удачном испытании своих поделок, и она на радостях накрыла праздничный стол. Из погреба были извлечены копчености – свиной окорок и шейка изюбря, соленые и маринованные грибочки и огурчики, квашеные капуста и черемша; на скорую руку хозяйка потушила молодые побеги папоротника (собранные как раз во время поиска мореной древесины), а на горячее пошла молодая картошка, жаренная с приобретенным по случаю у охотников нежным мясом косули. Ну и, конечно, горькие настоечки – на черемше, рябине, кедровых орешках, лимоннике – для радости мужеской, и сладкие наливочки на таежных ягодах – для печали женской. Впрочем, «печали» – это так, от лукавого: у Матрены последние два месяца причин печалиться не было, наоборот – лад да склад между ней и Степаном подталкивал их скорым шагом к венцу. А они и не сопротивлялись, что ж сопротивляться, ежели каждую ночь объятья крепче, поцелуи жарче, а о прочем говорить – найдутся ли слова для восторга и восхищения?

Но за стол Степан с Матреной сели степенно, рядышком, чтобы тепло друг друга ежеминутно чувствовать, чарочки с рубиновыми напитками подняли плавно, глаза в глаза глядя, но только тенькнуло стекло о стекло – громкий стук железного калиточного кольца словно развел чарки в стороны: эх, кто-то не вовремя напрашивался в гости.

Матрена привсталала – пойти открыть задвижку, но Степан, положив тяжелую руку на мягкое плечо, усадил ее обратно:

– Я сам.

Матрена проводила его до двери ласковым взглядом и неожиданно всхлипнула счастливыми слезами: хозяин! В доме снова есть хозяин! Махнув рукой, выпила свою чарочку – дай бог ему здоровья! – и вновь наполнила. Чтобы не заметил и не обиделся ненароком, что пьет без него.

4

Степан открыл калитку и невольно сделал шаг назад: за воротами стоял Григорий Вогул. За время, пока они не виделись, прежний друг-приятель оброс черной бородой с обильной проседью, а голова под суконным картузом оказалась брита наголо. На нем были яловые сапоги, черные штаны с синей рубахой-косовороткой, черную же куртку он из-за жары снял и держал в руках.

Шлык рыскнул глазами туда-сюда по двору, нет ли поблизости чего тяжелого, однако все было чисто – прибрано его же руками.

– Не колготись, – криво усмехнулся Григорий. – Поговорить надо.

– Говори, ежели, значитца, есть чего сказать. – Степан стоял напряженный, явно не собираясь отступать в сторону.

– Ну что ж мы будем в воротах толковать, будто неродные? – пошутил Вогул, но глаза его оставались серьезными, даже, скорее, угрюмыми.

– А мы давно уже неродные. С той самой поры, значитца, когда ты Гриньку чуток не убил...

– Ну не признал я тогда тезку, так рад же был, что не убил! Виноват, каюсь!

– ...и дело наше огню предал!

– Не ваше дело, а муравьевское, – угрюмо сказал Григорий. – Ну что, добром пустишь в дом али как по-иному?

– А чего тебе в доме делать?

– Сказал же, поговорить надо.

– Поговорить и во дворе можно. – Степан неприязненно посторонился, пропуская Григория, и добавил ему в спину: – Хотя, по-хорошему, тебя бы стражникам сдать, поджигателя и убивца!

– Сдашь, если сможешь. – Вогул, не оглядываясь, направился к лавке, вкопанной возле оградки палисадника, разбитого под окнами избы, и уселся, широко расставив ноги и положив куртку на колено.

На крыльцо вышла Матрена, увидела незнакомца и Степана, закрывавшего калитку, что-то по-своему поняла, поклонилась:

– Желаю здравствовать!

Вогул поднялся:

– И вам, хозяйюшка, того же.

– А вы проходите в избу, как раз к столу поспели.

Степан хотел было что-то сказать, но передумал – махнул рукой, представил:

– Хозяйка моя Матрена Михайловна, а это – мой знакомец давнишний Григорий... Как тебя по батюшке-то, я и не ведаю.

– Алексеевич, – усмехнулся гость.

– Вот, значитца, Григорий Алексеевич.

– Проходите, Григорий Алексеевич, – пропела Матрена. – Гостем будете. Небось с дороги дальней?

– Да уж не близкой, – снова усмехнулся Вогул, поднимаясь на крыльцо и входя в избу вслед за хозяйкой. Степан хмуро шел позади.

– А остановились где? Давайте, Григорий Алексеевич, вашу одёжу я на гвоздок повешу. Вон рукомойник в углу, и опосля – прямо к столу.

– Благодарствую, Матрена Михайловна. – Григорий прошел к рукомойнику, вымыл руки теплой водой, вытирая, ответил на первый вопрос: – Да пока нигде не остановился. Вот с дороги прямо к Степану... к вам.

– Так у нас и остановитесь, ежели не побрезгуете. У летней кухни пристроечка, топчанок там имеется с тюфячком и подголовничком. И простынка с наволокой найдутся. А ночи стоят теплые – перинка не потребуется...

Матрена говорила и говорила – провожая Вогула в горницу, усаживая за стол, ставя перед ним глиняную обливную тарелку и чарку зеленого стекла, подавая вилку железную двузубую и железную ложку – обе были начищены до блеска. Говорила так воркующе, что Степан, вернувшись на свое место, как раз напротив Григория, почувствовал болезненный укол в сердце: его-то Матрена столь горячо не обласкивала. Однако тут же сам себе возразил: а как же ее всклокоченный от страсти шепот в ночи, в самые изнеможительные мгновения «Степушка... роденький... ох!., еще!..» – и быстрые радостные поцелуи? Подумал и устыдился – все тело, снизу до самой головы, окатило жаром – и невольно приобнял за плечи невенчанную – пока невенчанную! – жену, как бы показывая Вогулу свое право на нее.

Но Григорий, похоже, не обратил внимания ни на слова Матрены, ни на ревность Степана, он словно ушел в себя, в какие-то свои не очень-то веселые мысли. Отвечал, правда, впопад, пил-ел неторопливо; узнав от хозяйки, что стол посреди недели богато накрыт по случаю Степановой удачи, ничего не сказал, лишь поприветствовал именинника поднятой чаркой и выпил полную за здоровье и счастье хозяйки. Закусив пельмешками, поднялся:

– Позвольте, Матрена Михайловна, нам со Степаном выйти. Подышать свежим воздухом.

– Дак окошки все открыты, – простодушно улыбнулась хозяйка.

– Поговорить надо, – коротко сказал Степан и встал. – Ты, Матреша, спроворь, значитца, чайку, а мы перетолкуем и возвернемся.

Они вышли в июньскую ночь, хотя называть ночью это состояние природы было, пожалуй, неправильно – оно скорее напоминало прозрачно-дымчатые сумерки: парящий над гаснущей вечерней зарей молодой месяц пронизывал теплый воздух рассеянным светом, а на востоке небо уже начинало высвечиваться снизу, словно там, за горами, разгорался огромный, но бездымный, лесной пожар. Только в зените, на сгущенно-синем небосводе, сложившись в загадочные рисунки, горели яркие звезды. Сквозь кусты и деревья палисада время от времени высвечивались далекие сполохи.

– Что это там горит? – кивнув на них, спросил Вогул.

– Домницы на заводе. Руду плавят. У них работа ночь и день – без продыху.

Григорий сел на лавку, хлопнул, приглашая, ладонью по оструганной доске:

– Садись, Степан, в ногах правды нет.

– А в жопе, значитца, есть? – хмыкнул Шлык, опускаясь рядом с Вогулом.

– Не до смеху мне, брат, – опустив голову, неожиданно севшим голосом сказал Григорий. – Я ведь пришел на крючок тебя посадить...

– Этта на какой такой крючок?! – Степан вознамерился вскочить, но Григорий успел ухватить его за локоть. – Я чё тебе, значитца, вроде сома, чё ли?! – возмутился столяр. Он попытался вырваться, но пальцы Григория держали, как клещи.

– Сом, щуки, ерша – какая разница? Крючок такой, что не сорвешься, сколь ни трепыхайся. – Григорий поднял голову, встретился взглядом со Степаном и даже в рассеянном свете месяца увидел в них такое напряжение тревожного ожидания, что отвернулся и ослабил хватку. – Я должен тебе дать задание, а ты должен его выполнить, – глухо сказал он.

– Этта какое такое задание?! – все-таки взвился Степан. – И почему я должен его выполнить?!

– Не кричи, – попросил Вогул. – Соседям об этом ни к чему знать. Для тебя же лучше.

– А-а, понял я, с каким заданием ты сюда явился! Шилкинскую историю, значитца, решил повторить? Злоб свою супротив генерала потешить? Ан не выйдет у ты ничего. Пароход железный, а железо-ть не горит! Не подожжешь, варнак, не подожжешь! – И для полноты превосходства своих слов над словами Вогула Степан даже припляснул, выворачивая ноги в домашней войлочной обувке и выделывая руками кренделя. – Оппа-оппа-оппа-па...

– А я и не должен ничего поджигать. Ты б не скоморошничал, а сел и послушал. – Григорий сказал это так спокойно-угрюмо, что Степан обескуражился и вроде бы покорно уселся на прежнее место. Но весь вид его говорил: ну чего тебе еще? – Поджечь, брат, должен ты! Да поджечь так, чтобы все сгорело. Весь завод.

От неожиданности Степан громко икнул и закашлялся. Он кашлял долго, останавливался, чтобы глотнуть воздуха и снова заходился в длинном кхаканье.

Вогул терпеливо ждал.

На крыльцо с ковшиком в руке выскочила Матрена:

– Ой, Степушка, чтой-то с тобой? – зачерпнула дождевой воды из деревянной кадки, что стояла под водостоком с крыши, и плеснула Степану в лицо.

Кашель прекратился.

– Иди в дом, Матрена, – рыкнул, отплевываясь, муж невенчаный.

Женщина открыла было рот – возразить, но окинула быстрым пытливым взглядом обоих мужиков и послушалась. Даже дверь за собой притворила.

Степан рукавом рубахи обтер лицо и несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. Потом спросил почти весело:

– Ну, выкладай, брат мой Каин, каким, значитца, макарон ты меня заставишь завод жечь? На какой крючок возьмешь?

– Да крючок-то простой, Степа, но уж больно надежный. Такой надежный, что с души воротит. Зверская надежность!

Григорий замолчал. Степан ждал. Он не мог предположить, что будет дальше, но каким-то неведомым образом почувствовал, что в старом друге-товарище, неожиданно ставшем врагом и убийцей, происходит что-то очень серьезное, идет невидимая миру, но беспощадная схватка.

– Я лучше тебе другое скажу, – продолжил Вогул. – Я вот уже пять лет свою обиду тут вот, – он ткнул себя в грудь, – ношу. Все делаю, чтобы генералу досадить, в любом его деле, большом ли, малом – неважно. В Петербурге хотел на перо посадить, ну ножом пырнуть, да ловок он оказался, видать, не в одной рукопашной бывал, меня самого едва не зарубил... Две засады устроил – у Байкала и на тракте Охотском. Облом вышел! Прямо заговоренный какой-то!

Григорий глянул на Степана – тот внимательно слушал, а навстречу взгляду встрепенулся, спросил:

– А с чего ты мне все это рассказываешь? Совесть проснулась?

– Скажу и о совести. Ты слушай, слушай. Ну ножиком пырнуть – это я сам додумался, а вот засады устроить меня один человек подбил. Не наш человек, из моей жизни прошлой, когда я в легионе был. Ох, Степа, какая же у него злоба на генерала! Куда мне, с моим задом поротым, с этой злобою тягаться!

– А ты, значитца, у этого человека на коротком поводке? – съязвил Степан.

– Нет, – отрубил Вогул. – Я ему сразу сказал, что с Россией не воюю, что наша дорожка общая только до генерала.

– Слышь, уж не ты ли машину паровую по весне по-задавешной украл? – прищурился Шлык. – А мы теперича над ей головы ломаем.

– Какую паровую машину? – удивился Григорий.

– Каку-каку! – рассердился Шлык. – Для парохода, что ты сжег. Аглицкую машину аж с Уралу везли, а она возьми и пропади по дороге! Твоих рук дело?

– Машину ты мне не приплетай. Не знаю никакой машины! Ты слушай, что дале скажу.

– Значитца, не ты, – задумчиво сказал Степан. – Ну да ладно, рассказывай.

– Занесло меня в Китай, в Маймачин, что на границе...

– Слышал про такой, – обронил Шлык.

– ...а там – цельный выводок против генерала. И все – наши, русские, зубы на него точат. Ну я поначалу-то обрадовался: эвон сколько заединчиков на ворога моего! Оттуда и на Шилкинский завод в охотку сходил, чтобы красного петуха Муравьеву пустить.

– Ты не Муравьеву, а нам с Гринькой, значитца, петуха подпустил. А сына вообще чуток не убил.

– Да ладно тебе! Я ж повинился. Не думал я тогда, Степан, куда злоба моя поворачивает, не думал. А потом объявился этот англичанин Ричард и вывернул дело так, что мы должны работать на Англию, что скоро будет большая война и надо помешать Муравьеву укрепить Камчатку и русские посты на Амуре. А для начала – сжечь Петровский завод, чтобы не мог он пароходы строить. А потом и верфь в Сретенске, и плотбище в Атамановке. И все это поручено мне! И до того мне, Степан, тошно стало! Как же так, думаю, целюсь в генерала, а стреляю в Россию-матушку? Знамо ж дело, он не для себя старается. Я ведь прежде-то, пока в Европу, а после в Африку не попал, о России нашенской и не думал вовсе. Знал дом родительский, соседей, городок наш уездный, а где-то была Тула губернская, где-то Москва Первопрестольная, где-то Петербург столичный. И всё – на особицу, а в целом – нет, не думалось. Ведь только издали начинаешь воспринимать – это, брат, Россия! Отечество! И при этом все внутри закипает, аж до слез иногда. Потому я и зарок дал, когда в легион Иностранный пошел: против Руси-матушки не воевать! В легион-то всякий сброд набирают, там одни офицеры французские, и послать легионеров могут куда угодно, а им похрен – лишь бы деньги платили да после контракта гражданство дали. А мне оказалось – не похрен!

Небо на востоке над горами уже наливалось красным, месяц на закате уплыл за горизонт, звезды в зените гасли одна за другой. Григорий говорил, замолкал, снова говорил, чертя сломанным прутиком на земле какие-то ему одному ведомые фигуры, – Степан слушал, не перебивая. Он чувствовал, что вся эта неожиданная исповедь неспроста, что за ней последует что-то важное, а пока Вогулу надо выговориться; за те три месяца, что они проработали вместе в Туле, Григорий про свою иностранную жизнь рассказывать не любил, и потом у него вряд ли с кем было время и желание пооткровенничать, а человек всю жизнь молчать не может – так и умом рехнуться недолго.

Когда Вогул в очередной раз промолчал дольше, Шлык осторожно спросил:

– Для тя, значитца, жечь завод – супротив Расеи-матушки, и ты задумал энто варначье дело переложить на меня?

Вогул кивнул, но добавил:

– Только не я это задумал, а Ричард, когда узнал от купца Христофора Кивдинского, что тебя отправили сюда.

Степан оторопел:

– Откуль энтому купцу про меня известно? Мне об нем доводилось слыхивать, сбег, мол, с-под стражи от суда губернаторского, а чтоб он меня знал – чудно!

– Видать, есть у него осведомители, – мотнул головой Григорий. – Я сам чуть зубами не клацнул, когда имя твое услышал. А еще больше охолодел, когда англичанин крючок для тебя выдумал.

– Крючо-ок! И каков же он, энто крючок?

– А ты не догадался? Аринка, внучка твоя, – вздохнув, сказал Григорий.

– Аринка?! Внучка?! – вскрикнул Степан. – Вам и об ней известно!

– Я ж говорю, осведомители хорошие.

– Ах вы сволочи-и! Дитё малое заместо крючка! – Степан схватился за голову, но потом развернулся и рванул Вогула за рубаху на груди. – Да ежели что с Аринкой случится, мы ж вас на куски порвем! Ты понял, сучий выродок?!

– Понял, понял, – спокойно сказал Григорий, высвобождаясь из захвата Степана. – Я чего пришел-то? Давай, брат, вместе думать, как быть и что делать.

– Да как чё делать?! Как чё делать?! – снова взъерошился Шлык. – Щас кликну соседей, и сдадим тя, значитца, стражникам.

– Ну и дурак. Ничего-то ты не понял. Я битых два часа толкую, что не хочу больше вредить делам генерала, коли они для России полезные, а ты за грудки хватаешь. Ну сдашь ты меня стражникам – не буду вилять, есть за что, – а что после? Думаешь, Кивдинский с Ричардом не найдут кого другого послать, кто за деньги ни матушки, ни батюшки, ни дитёнка не пожалеет? Это для меня ты с Гринькой да с Аринкой, можно сказать, родные люди, а тот же Хилок наступил бы сапогом и не оглянулся.

– Чё еще там за Хилок? – хмуро спросил Степан.

– Да был такой у Кивдинского. Телохраниль. Шлепнули его в одной заварушке – и поделом! Зверюга был – не приведи господь. Очень о нем купец сокрушался.

– Да хрен с им, с твоим Хилком! – взвыл Степан. – Вот скажи, как Аринку охоронить от варначья?!

Григорий вздохнул:

– Честно скажу, Степан: не знаю. Пока стервб это сидит в Маймачине, и тебе угроза будет, и внучке твоей.

– А вы чё ли не мужик, Григорий Алексеевич? – раздался женский голос из кустов, густо росших в палисаднике, да так нежданно-негаданно, что оба они вздрогнули и разом обернулись на полускрытое листвой распахнутое окно. В нем виднелись голова и плечи Матрены,

очерченные светом деревянного фонаря, висевшего у нее за спиной. – Взяли бы и разорили это осиное гнездо.

Глава 3

1

В Мариенбаде Муравьевы пробыли до конца мая. Николай Николаевич пил воду из источника Рудольфа, холодную, неприятную на вкус, но чрезвычайно полезную от почечных колик, которые начали мучить его еще в Стоклишках. Екатерина Николаевна, побывав у специалиста по женским органам, пила более легкую, пузырящуюся газом целебную жидкость из источника Креста. Она не теряла надежды забеременеть, хотя муж ни единым словом не упрекнул ее за отсутствие детей и даже больше – ей порою казалось, что ему, при его огромной занятости, дети могут помешать, однако упорно просила свою покровительницу святую Екатерину о ниспослании зачатия и пыталась лечиться от бесплодия. И в то же время она вновь и вновь обращалась к мысли о том, что причина кроется в Анри, в невозможности, при всей ее любви и преданности мужу, выбросить из сердца первое чувство. Это он, Анри Дюбуа, не позволяет ей иметь детей от другого мужчины. О, как она его ненавидела за все, что случилось между ними в Иркутске! Как ненавидела себя за то, что сразу не открыла Николая глаза на «прекрасного офицера и славного человека» Андре Леграна! Она не представляла себе, как посмотрит в любящие глаза мужа, когда он узнает правду. А рано или поздно он, конечно, узнает. Только от кого? Вопрос отнюдь не праздный.

Николя видел, что Катрин что-то угнетает, пытался узнать, в чем дело, ничего не добился, решил, что просто сказывается перемена климата, и перестал докучать. А тут еще в конце мая на вечерней прогулке по лесопарку, разрезающему курортный городок как раз посередине, они нос к носу столкнулись с двумя явно русскими личностями. Хотя оба господина были в модных европейских костюмах, но те сидели на них не то чтобы неловко, но как-то неуверенно, словно платье и человек еще приноравливались друг к другу. Один господин, худощавый и светлосый, имел явно военную выправку, а второй, с буйной рыжей шевелюрой, отличался полнотой и в то же время живостью, свойственными молодым русским помещикам, только-только дорвавшимся до управления наследственным хозяйством и сгорающим от желания его усовершенствовать.

– Ба, знакомые все лица! – воскликнул Николай Николаевич, раскрывая объятия старым товарищам по первому пребыванию за границей, тому самому пребыванию, которое подарило ему необыкновенное знакомство с будущей женой. Тогда, семь лет назад, они ради экономии снимали одну квартиру в Ахене – молодой генерал-майор Муравьев, юный поручик Голицын и двадцатипятилетний рязанский балбес-сердцеед Дурнов.

Друзья обнялись, расцеловались, и Николай Николаевич представил:

– Дорогая, это Дмитрий Васильевич Голицын и Иван Иванович Дурнов, я тебе о них рассказывал, а это, господа, супруга моя Екатерина Николаевна.

Склоняясь, вслед за Голицыным, к ручке генеральши, Дурнов задержал взгляд веселых голубых глаз на ее зарумянившемся лице и после поцелуя обратился к Муравьеву:

– Ужель та самая?..

– Да-да, та самая, – немного самодовольно улыбнулся генерал.

Тогда, в Ахене, выдернув Катрин из-под колес поезда, он проводил ее до отеля, где она снимала номер, и в течение нескольких дней, пока девушка приходила в себя после известия о гибели жениха, с утра до позднего вечера находился подле нее. Естественно, с ее разрешения. Своим друзьям-приятелям ничего не рассказывал, считая, что чужие сердечные секреты раскрывать кому бы то ни было он не вправе, а те были настолько деликатны, что ничего не спрашивали. Только поинтересовались однажды, где он пропадает. Он ответил, что с той девушкой,

на которую они все обратили внимание, и ответил так серьезно, что даже зубоскал Дурнов не прошелся по нему скабрешной шуткой.

А потом Катрин засобиралась домой, в По, и Николай Николаевич испросил разрешения сопровождать ее в достаточно далеком путешествии. Девушка уже привыкла к его постоянному присутствию и была даже рада – по крайней мере, ему так показалось – этому предложению. В Ахен с ней приехала камеристка Мари, маленькая неказистая блондинка, которая не столько помогала, сколько была обузой – она мало что умела и вечно теряла необходимые вещи, а Катрин нуждалась в участливом обществе, ей не хватало защитника, и эту роль с удовольствием взял на себя молодой русский генерал.

С большим сожалением, но с пониманием и пожеланием сердечной удачи Голицын и Дурнов простились с товарищем. Думали – навсегда, однако оказалось – всего на семь лет. И вот теперь неожиданная и оттого еще более приятная встреча друзей. Разумеется, начались вечерние посиделки с воспоминаниями за «Бехеровкой» – так называлась изобретенная местным курортным врачом Иозефом Бехером спиртовая настойка на двадцати травах, удивительно приятный и целительный напиток, который рекомендовалось принимать за раз лишь по маленькой рюмочке, но русским такой дозы было маловато, и они за вечер опустошали целую бутылку темно-зеленого стекла, на что хозяин питейного заведения сокрушенно покачивал головой, однако на следующее застолье безропотно выставлял очередную бутылку.

Два вечера Екатерина Николаевна с удовольствием слушала рассказы мужчин, в основном своего мужа, заново переживая его поездки по Забайкалью, совместное путешествие на Камчатку, тайно гордилась его борьбой с казнокрадами и мздоимцами, грандиозными планами по возвращению Амура России и переустройству необжитого края. На третий вечер почувствовала некоторое утомление, а на четвертый ей захотелось во Францию, в Париж и далее на юг, к любимым и родным Пиренеям.

– Николая, милый, – сказала она, сидя у зеркала за утренним туалетом и обмахивая пуховой щеки, – курс лечения у тебя закончился. Не пора ли нам уезжать?

– Разумеется, пора, – откликнулся муж, занятый непосильным для военного человека трудом – выбором галстука. – Но у меня предложение: а не поехать ли нам в Испанию? Иван Иванович в прошлом году был в Мадриде и Барселоне⁷, и очень советовал посетить родину Сервантеса.

– Нет, дорогой, в Испании я была несколько раз, именно в Мадриде и Барселоне, и больше туда не хочу. Если тебе интересно, можешь съездить один, а я побуду в шато Ришмон д'Адур, немного отдохну.

– Хорошо, хорошо, – рассеянно сказал Николай Николаевич. – Пожалуй, так и поступим. Слушай, Катюша, – в его голосе появились жалобные нотки, – ну, помоги ты мне наконец подобрать галстук. Накупили их целую дюжину, между прочим, по твоему настоянию, а я теперь ломаю голову, к какой рубашке, какому сюртуку какой расцветки да какой ширины. С ума сойти!

Катрин засмеялась. Легко вскочив с низкого пуфика, на котором сидела перед зеркалом, она в три шага подбежала к мужу, обхватила его двумя руками за шею, почти повиснув на ней, и крепко поцеловала:

– Ты мой большой мальчишка!

– А ты – мой самый красивый галстук, – неуклюже пошутил он, прижимая ее к себе одной рукой, а другая тут же заскользила вдоль спины – ниже и ниже...

– Все-все-все, – высвободилась она. – Выбираем галстук. Остальное – потом, вечером. После прощания с твоими друзьями.

⁷ Так русские в то время называли Барселону.

– Да, они настоящие друзья, – задумчиво произнес Николай Николаевич. – Ты знаешь, что мне сказал по секрету Митя Голицын? Он же служит в Министерстве иностранных дел, столоначальником в Азиатском департаменте...

– Ну и что же секретного рассказал Дмитрий Васильевич? – прикладывая к рубашке мужа то один галстук, то другой и придиричливо вглядываясь в них, спросила Катрин.

– Сенявин, видимо, по указанию Нессельроде, нарушил высочайшее распоряжение. Государь приказал отправить китайскому трибуналу лист с разъяснением его указа по границам... ну, с учетом исследований Невельского и Ахте, а Сенявин все опять свел к Нерчинскому трактату, в прежнем его понимании. Опять призвал столбы пограничные поставить. Причем тянул с отправкой листа до той поры, пока мы не уехали из Петербурга, чтобы я до времени ничего не знал.

Николай Николаевич с каждым новым словом распался и все сильнее. Как всегда, лицо покрылось пятнами, на висках выступил пот. Катрин замерла, не успев отнять от рубашки выбранный галстук, Николая вырвал его у нее из рук, отбросил в сторону и забегал по комнате.

– Милый, успокойся... – попыталась она остановить разгоревшуюся мужнину ярость.

– Да как я могу успокоиться?! – закричал он. – Китайцы же ухватятся за это и сорвут переговоры по Амуру!

– Ну, давай тогда вернемся в Петербург, – спокойно, даже как-то безразлично сказала Катрин.

Удивительно, но именно это безразличие мгновенно погасило разгоравшийся пожар.

– Мерзавцы! – затихая, словно сплюнул Муравьев, но это была уже последняя искра.

Походив еще немного и помолчав, он буднично сказал:

– Возвращаться сейчас – смысла нет, лист все равно ушел в Китай – не догонишь. Да еще и китайцы могут снова промолчать, как это было год назад. У них там свои проблемы: война с тайпинами, с англичанами... Вернемся после отпуска – тогда и буду разбираться. И разбираться так, чтобы Митю Голицына под удар не подставить. Чтоб его в предательстве не обвинили.

– Значит, едем в Париж? – осторожно спросила Катрин.

– Да-да, в Париж. Через Карлсбад до Цвиккау дилижансом, а там по железной дороге – через Лейпциг, Франкфурт... В Париж, моя радость, в Париж!

2

В шато Ришмон д'Адур у Катрин было слишком много памятных мест, бесцеремонно напоминавших ей об Анри. Она разрывалась между строгим супружеским долгом, который требовал решительно отбросить прошлое, и мучительным желанием снова и снова всматриваться в почти не потускневшие, как оказалось, картины их близости и томиться от всплесков прежних любовных ощущений. Ей было ужасно стыдно перед Николаем, она чувствовала себя безмерно виноватой, но тем не менее порочные воспоминания не оставляли ее.

Родители ничего не могли ей рассказать об Анри. Они ездили в шато Дю-Буа на похороны старого Армана, двоюродного брата Жозефины де Ришмон (матери Катрин и Анри носили одно имя, по каковому поводу Жерар де Ришмон иногда отпускал соленые солдатские шутки), видели Анри, его юную жену Анастаси и чудесного их сына Никиту, но это было уже достаточно давно.

Николай на две недели уехал путешествовать. Он запланировал сложный маршрут, в который входило, помимо Мадрида и Валенции⁸, посещение Лазурного берега Франции и Марселя, возвращение в Испанию, в Барселону, и уже оттуда – возвращение в По, в шато Ришмон д'А-

⁸ Так русские в то время называли Валенсию.

дур. Настойчиво звал с собой Катрин, но та сослалась на усталость и осталась в замке родителей.

А вот теперь, истомленная воспоминаниями, она вдруг решила проведать Анри в его родовом имении. Родители не советовали этого делать, дабы не давать мужу повода для ревности, которая у русских бывает смертельно опасной.

– Во-первых, мой муж до сей поры считает, что Анри погиб, – сказала Катрин, сидя с родителями за утренним чаем. – Я и сама долго так думала. Во-вторых, он мне полностью доверяет, и я скорее умру, чем обману его доверие. – При этих словах она невольно покраснела, отчасти из-за того, что они прозвучали напыщенно, как в плохом театральном спектакле, отчасти потому, что слукавила, так как не открыла Николая секреты Андре Леграна. – Я имею в виду, что никогда ему не изменю.

– Если женщина говорит «никогда не изменю»... – Жозефина де Ришмон сделала многозначительную паузу и кокетливо поправила на груди кружева своего пеньюара, – ...это значит, что она уже готова наставить мужу рога.

Жерар де Ришмон громко захохотал, заставив вздрогнуть горничную, разливавшую чай.

– Мама! – возмущенно воскликнула Катрин. – За кого ты меня принимаешь?!

– За красивую и очень чувственную женщину, – серьезно сказала Жозефина. – Ты думаешь, мы с отцом не знали, чем вы с Анри занимались в твоей комнате каждую удобную минуту? Или на ваших конных прогулках? Знали и не мешали.

Катрин уткнулась в чашку запылявшимся лицом, на глаза навернулись слезы. Мать засмеялась и, дотянувшись, погладила ее по плечу маленькой легкой рукой:

– Не смущайся, моя девочка, все это замечательно. Мы вам и не завидовали, потому что у нас с твоим отцом было несколько не хуже. Правда, Жерар?

– О да, моя птичка! – подтвердил отец. – Иногда даже в то же самое время. – И снова захохотал.

– Уймись, Жерар, – строго сказала мать. – Не надо опошлять красоту.

– Правда не бывает пошлой, – назидательно произнес отец, подняв указательный палец.

– Еще как бывает, – возразила мать.

Катрин поняла, что назревает спор, но ей это было неинтересно.

– Я все-таки поеду в шато Дю-Буа, – сказала она. – Папа, закажи мне на завтра место в дилижансе.

– Дорога дальняя, – предупредил отец. – Где-то около семидесяти лье. Ты очень устанешь.

Катрин засмеялась:

– Папа, ты забыл, я вам писала, как мы с Николаем добирались верхом от Якутска до Охотска. По горам, болотам, вброд через реки – почти пятьсот лье!

– Пятьсот лье! – в ужасе воскликнула Жозефина де Ришмон. – Бедная моя девочка!

– Да какая же я бедная? – продолжала веселиться Катрин. – Я жена хозяина половины России! Полуимператрица!

Ее веселье заразило и отца и мать. Несколько минут все смеялись. Потом Жерар де Ришмон вдруг посерьезнел:

– А ведь верно говоришь, дочка: твой Муравьев – хозяин половины России! Как же, должно быть, тяжело ему управлять такой территорией, если там нет даже самых простых дорог!

И Катрин притихла. Она как будто впервые мысленно охватила бескрайние просторы Сибири, по которым ей довелось передвигаться – на санях, колесах, лодках, в седле, – представила села и деревни, городки и города, увидела сотни и тысячи людей – простолюдинов и чиновников, купцов и военных – и ей стало жутко: действительно, как же Николаю со всем этим справляется, ведь у него и помощников-то настоящих можно по пальцам пересчитать! А

сколько явных противников и тайных врагов! И все-таки он делает свое дело, и делает хорошо, иначе не благоволил бы ему сам российский император. Ей стало тепло и радостно от гордости за мужа, такого сильного духом и такого... такого трепетно нежного в любви. Он, конечно, великодушно простит ее, когда она наконец решится рассказать ему про Анри. Если, конечно, решится.

Катрин оглушили известия, простодушно выложенные ей Коринной сразу же по приезде в шато Дю-Буа.

Новая хозяйка шато, окруженная четырьмя малышами – пятый, грудничок Арман, сын Коринны и Анри, спал в комнатке для самых маленьких, – хлопотала вокруг дорогой гостьи. Роже Байярд знал Катрин, можно сказать, с ее детства и представил Коринне кухню хозяина наилучшим образом. Катрин немного удивилась подчеркнuto уважительному отношению Байярда к крестьянке, неожиданно ставшей управительницей большого имения, но, увидев, как выются вокруг нее дети, поняла причину такого уважения: Роже обожал детей, сам вырастил четверых и всегда считал, что к плохому человеку они льнуть не станут. Кроме того, рождение Армана засвидетельствовало, что утверждение Коринны в шато Дю-Буа совсем не случайно.

Взяв хозяйство Дюбуа в крепкие крестьянские руки, Коринна осталась открытой, доверчивой и добродушной женщиной, какими чаще всего и бывают простолюдинки. За обедом она бесхитростно поведала Катрин всю историю страданий Анри, всплакнула над белокурыми головками прильнувших к ней Никиты и Анюты (она так и называла Анну-Жозефину на русский манер, с трудом выговаривая странное для французского языка имя – Аньюта). В комнате Анастасии, где все осталось неприкосновенным, Катрин долго рассматривала висевший на стене большой живописный портрет юной жены Анри, втайне надеясь увидеть в ней свои, почти десятилетней давности, черты, но ничего похожего не обнаружила. Отвергнутый ею Анри не искал новую Катрин – наоборот, нашел совершенно иной образ, можно даже сказать, прямо противоположный: милое округлое, типично русское лицо, голубые, как сибирское летнее небо, глаза, волосы – золотой пшеничной волной... Как там у Пушкина? «Чистейшей прелести чистейший образец»? Да, именно так. Казалось бы, Катрин должна была испытать чувство ревности, но в сердце, кроме острой жалости к несчастной девочке ничего не возникло. Впрочем, и Коринна, ставшая любовницей, а вернее, невенчаной женой Анри, вызывала у нее лишь сочувствие и уважение.

– Байярд говорил, что ее отравило письмо из России, – услышала она за спиной напряженный голос Коринны и так резко обернулась, что та растерялась и торопливо пояснила: – Подробностей я не знаю, об этом лучше расскажет комиссар Коленкур – он в полиции занимался этим делом, – но Анри мне сказал, что не успокоится, пока не отомстит человеку, призвавшему это письмо. С тем и уехал.

– Куда? В Россию?

– Ну раз письмо оттуда...

– А где я могу найти Коленкура?

– Наверное, в окружном комиссариате, в Бержераке, – сказал Байярд, тоже стоявший за спиной Коринны.

– Я хочу его немедленно увидеть. Роже, вы можете меня отвезти в Бержерак?

– Разумеется, мадам. Уже иду запрягать.

3

Комиссар Жозеф Коленкур сидел в своем кабинете в старом здании полицейского комиссариата на улице Сен-Эспри и читал газету. Нельзя сказать, что у него не было никаких дел – у полиции они есть всегда, но комиссару уже ничем не хотелось заниматься, поскольку время

близилось к ежевечернему бокалу красного бержеракского Petit-Champagne Montbazillac⁹ в кафе «Сирано» на набережной Сальвет. Там так приятно посидеть часок под скульптурой поэта с задраным носом, покуривая сигариллу, прихлебывая прохладное вино, мелкими иголочками покалывающее кончик языка, и совсем не думать, допустим, про украденное на Плас Бельгард столовое серебро.

В дверь постучали, и не успел комиссар недовольно сказать «Войдите!», как ее резко дернули, открывая, и в проеме показалась женская фигура в элегантном дорожном платье. Черная вуалетка, спадающая с небольшой шляпки, наполовину прикрывала лицо, но опытные глаза комиссара мгновенно ухватили главное: посетительнице не больше двадцати семи лет, неместная и необычайно взволнована, принадлежит к высшим слоям общества. Последний вывод не радовал – чисто из личных соображений. Жозефу Коленкуру изрядно надоело подтрунивание полицейской братии над его аристократической фамилией¹⁰, из-за которой сослуживцы за глаза называли его дивизионным генералом.

Комиссар встал и поклонился. Положение обязывало.

– Комиссар Коленкур? – Приятный голос слегка дрожал, подтверждая волнение хозяйки.

Он снова поклонился:

– С кем имею честь?

– Екатерина Муравьева, жена генерал-губернатора из России.

У комиссара отпала нижняя челюсть. Он не поверил своим ушам. Дело об отравлении мадам Дюбуа письмом генерала Муравьева было, пожалуй, самым значительным и интересным за всю его двадцатипятилетнюю службу в полиции, он страстно желал докопаться до его корней и схватить преступника за руку, однако два обстоятельства свели к нулю весь его энтузиазм. Во-первых, муж погибшей категорически воспротивился вмешательству полиции, заявив, что знает, где найти преступника, и сделает это сам. Во-вторых, префект Сюртэ¹¹ Аллар отказал Коленкуру в командировке в Россию, сославшись на отсутствие средств. С этим не поспоришь, *c'est la vie*¹². Комиссар и не огорчился, что занимательное путешествие не состоялось, потому что обнаружил одну деталь, которая заставила его сначала глубоко задуматься, а чуть позже порадоваться, что по указанию Аллара дело вовсе закрыли, хотя о нем нельзя было сказать «*L'affaire est dans le sac*»¹³. О детали этой комиссар предпочел никому не рассказывать. Потому что *quand la sante va, tout va*¹⁴, а деталь эта пахла большими неприятностями. Именно для здоровья.

А сейчас жена автора того злополучного письма (хотя точнее следовало бы говорить «предполагаемого автора») стояла перед ним, и глаза ее сверкали решимостью.

– Мне известно, что вы, месье, вели дело об отравлении мадам Дюбуа. Мне хотелось бы увидеть письмо, которое убило мадам. Оно действительно из России?

Коленкур смутился. Конечно, письмо написано по-русски и подпись там генерала Муравьева, но...

– Вы садитесь, пожалуйста. Видите ли, мадам, я не могу это утверждать с полной достоверностью...

– Почему? – спросила Муравьева, садясь на стул у рабочего стола комиссара. Сам Коленкур остался стоять, ссутулившись и опираясь на стол костяшками пальцев. Он был худощав

⁹ Petit-Champagne Montbazillac – маленькое шампанское Монбазийяк (*фр.*).

¹⁰ Наиболее известны наполеоновские дивизионные генералы братья Огюст-Жан-Габриель де Коленкур, граф, и Арман-Огюстен-Луи де Коленкур, герцог Виченцы. Менее известен дивизионный генерал Габриель-Луи де Коленкур.

¹¹ Сюртэ – безопасность (*фр.*). Так первоначально называли французскую криминальную полицию.

¹² *C'est la vie* – такова жизнь (*фр.*).

¹³ *L'affaire est dans le sac* – Дело в шляпе (сделано) (*фр.*).

¹⁴ *Quand la sante va, tout va* – здоровье прежде всего (*фр.*).

и высок; все его знакомые были ростом ниже, и ему почему-то всегда хотелось быть как все, поэтому он привык сутулиться.

– Позвольте мне сказать об этом чуть позже. А пока я могу вас познакомить с фотографической копией. Само письмо, тщательно запечатанное, находится в архиве Сюртэ. Яд, которым оно пропитано, остается опасным для жизни. Муж погибшей хотел оставить письмо себе, но префект Аллар категорически воспротивился. Ему также отдали фотографическую копию.

– Давайте вашу копию.

Коленкур открыл железный шкаф, достал из папки белый лист и подал Муравьевой. Сам опустился на стул, взялся было за газету, но тут же отложил ее в сторону.

На плотной бумаге отпечатались сероватый прямоугольник с более темными буквами текста. Катрин заглянула в конец, туда, где в правом нижнем углу были слова «Генерал-губернатор Восточной Сибири» и подпись – «Николай Муравьев».

– Это писано не рукой моего мужа, и подпись не его. – Ее губы скривились в презрительной усмешке. – Кто-то сработал очень грубо.

– Нечто подобное я и предполагал, – заметил Коленкур и, протянув руку, поспешно добавил: – Давайте сюда. Остальное можно не читать.

– Нет уж, позвольте, я прочту. Все-таки интересно, что могут написать от имени генерала Муравьева женщине, о которой он, скорее всего, никогда и не слышал.

Комиссар заерзал:

– Мадам, содержание может вас... гм... покоробить и даже оскорбить...

– Вот как? Тем более любопытно.

Однако чем дальше она читала, тем бледнее становилось ее красивое лицо. Это было заметно даже под вуалеткой. (Наверное, дошла до слов о попытке изнасилования, подумал Коленкур, и о том, что об этом сказала Христиани.) А потом кровь бросилась на щеки, рука, держащая бумагу, бессильно упала на колени, и Коленкур услышал искаженный болью шепот:

– Боже мой! Элиза! Этого не может быть!

Минуты две она сидела, устремив глаза на герб Бержерака, висевший на стене. Комиссар тоже посмотрел – что там остановило ее взгляд? Лилии на левой, голубой половине щита? Вряд ли. Золотой дракон на правой, красной половине? Красивый и коварный зверь... Элиза?! Та самая, на которую ссылается автор письма!

– Кто такая Элиза? – осторожно спросил Коленкур. Муравьева не ответила. – Близкий вам человек?

Мадам! – Он повысил голос, чтобы встряхнуть впавшую в сомнамбулическое состояние женщину.

– Что? Вы что-то сказали? – очнулась она.

– Простите, что приходится напоминать, скорее всего, о крайне неприятных для вас вещах, но необходимо разобраться до конца. Думаю, что это – в ваших интересах.

– Да, да, – кивнула Катрин.

– То, что написано в письме, правда?

– Конечно же нет! – возмущенно воскликнула Катрин, однако сразу поправилась: – Да, Анри... то есть господин Дюбуа был сильно огорчен... расстроен моим замужеством и... сделал попытку меня вернуть... Но я отказалась! Все было в рамках пристойности!

Последние фразы она произнесла громко и резко, почти выкрикнула. Коленкур сочувственно покивал:

– И вы рассказали все вашей наперснице Элизе, а она, выходит, кому-то еще, и эти сведения докатились до Парижа.

Муравьева удивленно воззрилась на комиссара:

– До Парижа?

– Да, мадам. Кому-то очень хотелось, чтобы Анри Дюбуа очертя голову помчался в Россию мстить за жену... и за вас. – Коленкур помолчал, обдумывая, стоит ли быть до конца откровенным с этой милой женщиной, ведь его истина может стать для нее, а возможно, и для него, просто опасной. Но тут ему пришло в голову, что опасность для нее реальна в любом случае и лучше предупредить. Как известно, предупрежден – значит, вооружен. И – решился. Но сначала встал, прошел до двери, выглянул в коридор и, плотно прикрыв створку, вернулся на место. И говорил уже не так громко.

– Я предполагаю, мадам, может быть, даже знаю, кому хотелось подтолкнуть Дюбуа, но называть не буду. Не могу и не имею права. Скажу лишь, что конвертами, в одном из которых было прислано отравленное письмо, пользуется некое секретное учреждение.

– Судя по тому, к чему склонял меня Анри Дюбуа, я догадываюсь, какое это может быть учреждение, – холодно произнесла Муравьева.

– Мадам! – Комиссар, остерегая, поднес указательный палец к губам.

Муравьева понимающе кивнула и, понизив голос почти до шепота, спросила:

– Если дело закрыто, я могу взять копию письма? Она мне может понадобиться в России.

– Возьмите. И будьте крайне осторожны. – Коленкур также говорил вполголоса. – Вы когда намерены быть в Париже?

– Еще не знаю. Муж вернется из Испании – наверное, после этого... – Катрин замялась. Комиссар был ей симпатичен, располагал к себе откровенностью, которая, как она считала, несвойственна служащим в криминальной полиции, но ей не хотелось раскрываться перед ним больше того, что он уже знал из письма. Потому и заключила: – Нет, пока сказать не могу.

Он, кажется, понял ее настрой, неоднозначность этого «сказать не могу» и не обиделся, а четко произнес, назидательно подняв указательный палец:

– Пожалуйста, не забудьте про осторожность. Что-то мне подсказывает, что у вас могут быть сложности.

– В Париже? – уточнила Катрин.

– Они могут быть в любом городе, в любой коммуне, но в Париже вероятнее всего.

4

Мысль о предательстве Элизы горячей иглой колола сердце Катрин, и ей стоило большого труда не показывать Николаю своих расстроенных чувств. Еще ее тревожило то, что Анри уехал в Россию и снова будет угрожать Николаю, но ни о письме, ни о своей поездке в шато Дюбуа и Бержерак она ему ничего не сказала. Подумала, еще успею, до возвращения в Россию времени много; может быть, что-то изменится. Впрочем, муж ничего и не замечал: он был весело возбужден после возвращения из Испании, где встретил бывшего члена ревизионной комиссии сенатора Толстого Ивана Демьяновича Булычева, который буквально затащил его на корриду, и, к немалому удивлению Николая Николаевича, бой быков ему не показался столь уж отталкивающим.

– Представляете, – рассказывал он за обедом внимательно слушавшим родителям Катрин, – я-то думал, что это просто испанская резня, утоление жажды крови после запрещения дуэлей на шпагах, а оказалось – настоящее искусство, балет на грани жизни и смерти. Волнует необычайно!

– А вас, Николай, не волнует напряженность отношений России с Османской империей? – вежливо поинтересовался Жерар де Ришмон, ловко разделявая вилкой и ножом жареного кролика, традиционное обеденное блюдо в семье де Ришмон. (Этих кроликов в поместье и окрестностях была тьма-тьмущая.) – Как пишут наши газеты, русская армия под командованием князя Михаила Горчакова третьего июля вступила на территорию Молдавии и Вала-

хии, которые находятся под турецким суверенитетом. Насколько я понимаю, до войны остается только шаг.

– Ну воевать с Россией у турок кишка тонка, – нахмурился, сказал Муравьев. – Мы их бивали не раз, и надо будет – еще побьем.

– Тем не менее, когда чрезвычайный посланник вашего императора князь Меншиков потребовал от турецкого султана в пятидневный срок заключить с Россией договор, передающий православное население Османской империи под покровительство российского императора, османы отклонили этот ультиматум. Их не остановил даже разрыв дипломатических отношений.

– Я читал об этом в немецких и французских газетах. – Голос генерала стал сух и холоден. – И помню слова князя перед отъездом из Константинополя: «Отказ Турции дать гарантии православной вере создает для императорского правительства необходимость отныне искать ее в собственной силе».

– У вас хорошая память, Николай, – заметил Жерар де Ришмон.

– Благодарю. Но хорошую память не мешало бы иметь и тем, на чью помощь в войне с Россией рассчитывает Турция. Позиция России благородна, она хочет помочь единоверцам, стонущим под игом магометан.

– Да-да, – поддакнул Жерар и добавил нейтральным тоном: – А в качестве бонуса получить проливы из Черного моря в Средиземное.

Лицо Муравьева пошло красными пятнами, и Катрин поспешила вмешаться:

– Николя, папа, давайте оставим политику тем, кто ей занимается. Мы же говорили про корриду. Николя, ты так вдохновенно о ней декламировал. «Балет на грани жизни и смерти» – это же настоящая поэзия!

Ей самой было противно от своей фальши, но ничего другого в этот момент она придумать не смогла. А отец тем временем невозмутимо поглощал жареного кролика, запивая легкое мясо превосходным рубиновым «Сен-Эмильон».

Катрин продолжила отвлекающий маневр:

– Ты знаешь, я корриду видела еще девочкой, и она мне ужасно не понравилась. А вот сейчас, после твоих слов, мне снова захотелось ее посмотреть.

– О да! – поддержала дочь Жозефина де Ришмон. – Вы, Николя, тайком от жены стихи не сочиняете? Попробуйте, у вас должно получиться, не все же время заниматься государственными делами.

Слушая простодушную женскую болтовню, Муравьев постепенно остывал. Он залпом осушил бокал бордосского и принялся за остывшего кролика.

– Ты обязательно напиши об этом брату Валериану, а то он у себя в Олонецкой губернии ни о чем подобном и не слыхивал, – окончательно выдыхаясь, закончила Катрин.

Николай Николаевич оторвался от еды:

– Конечно, напишу, давно ему не писал. А ты – Элизе.

– А ей-то о чем писать? О Франции? Приеду – расскажу.

– Пожалуй, – согласился муж, наливая себе вина и, как ей показалось, не особенно вникая в ее слова. И тут она подумала, что после всего, что узнала от Коринны и Коленкура, вряд ли ей захочется встречаться и разговаривать с Элизой.

– Впрочем, – вдруг усмехнулась Катрин, – я все-таки ей напишу. Есть чем поделиться, не дожидаясь встречи. И ты Александра что-то совсем забыл.

– Да-да, и ему черкану.

Про Александра Катрин помянула совершенно напрасно: Николай Николаевич братьев не забывал, переписка с ними не прерывалась, где бы он ни находился. Муравьев умел и любил писать письма – обстоятельные, рассудительные, часто философические. Это особенно чув-

ствовалось в письмах к Валериану, с которым у старшего брата были все-таки более теплые отношения. Катрин как-то сказала шутливым тоном:

– Николя, у тебя будет чем заняться на старости лет: ты напишешь замечательные мемуары, которыми будут зачитываться и через столетие.

На что муж ответил очень даже серьезно:

– Я их напишу лишь в том случае, если исполню все задуманное. Только тогда я буду иметь право на мемуары.

Николай Николаевич не любил откладывать что-то намеченное в долгий ящик, поэтому уселся за письма сразу после обеда. Настроение его оставалось прекрасным, и это не могло не найти отражения в тексте.

«Вообще я очень доволен настоящим моим путешествием, – писал он Валериану, который был в то время Олонецким гражданским губернатором. – Оно рассеяло меня от вечных трудов и забот, рассеяло многие неприятные впечатления по службе и оставило во мне лишь необходимое для службы, то есть твердое намерение употребить все мои силы и способы в пользу Государа и Отечества, и укрепило убеждение, что в России лучше, чем во всех других частях Европы».

Екатерина Николаевна, которой частенько доводилось перебеливать бумаги мужа или работать под его диктовку, когда у него болела покалеченная правая рука, а левой писать ему не хотелось, всегда поражалась его умению (а может, потребности) соотносить свои действия и замыслы с интересами императора и всей России. У Муравьева это было так естественно, без малейшей фальши, натянутости и выспренности, что она невольно проникалась его гражданскими чувствами и нередко всей душой становилась на его сторону, порою даже в сомнительных, на ее взгляд, прожектах. Правда, она старалась свои сомнения не таить, а высказывать мужу в глаза, что заставляло его иногда «бегать по потолку», но она считала, что это для него полезно. Заставляло взглянуть на себя несколько иными глазами. Так случилось, когда после путешествия в Камчатку и знакомства с Завойко, построившим Аян, он загорелся обустроить Аянский тракт, заселив его крестьянскими, главным образом старообрядческими, семьями. Все равно, мол, их везде притесняют, а там никто не тронет и даже, наоборот, при усердном надзоре за трактом они получают многие льготы.

Об этом прожекте весьма неодобрительно отозвался Дмитрий Иринархович Завалишин, резонно посчитав, что на диких, в основном болотистых, землях вдоль Аянского тракта крестьянское хозяйство развить невозможно, а значит, переселенцы либо сбегут, либо погибнут, и потраченные средства будут выброшены на ветер. Екатерина Николаевна сама вслух прочитала его письмо и тут же высказала свое одобрение старому декабристу.

Описать гнев мужа, который в мечтах уже представлял тракт чуть ли не европейского вида, она не смогла бы даже теперь, спустя три года. Буря, шторм, ураган – близкие, но все равно недостаточные сравнения. Досаду на всех противников прожекта, Николай Николаевич так-таки добился в Петербурге его одобрения; крестьян переселили, но Завалишин оказался прав: затея провалилась. На распаханых землях ничто не хотело расти, переселенцы голодали, построенные мосты сносило паводками... Тем не менее крайне расстроенный Муравьев не захотел признавать ошибку – он объяснил неудачу неблагоприятным стечением природных обстоятельств и недостаточным в борьбе с ними упорством крестьян. На Екатерину Николаевну он не обиделся, по крайней мере никогда об этом не заговаривал, а вот Завалишину, похоже, критику не простил, и недовольство комментариями Дмитрия Иринарховича по поводу новаций генерал-губернатора нет-нет да прорывалось то в одном месте, то в другом. Дело неторопливо, но верно шло к разрыву их отношений.

...А Катрин в своем письме Элизе была жестка и непреклонна, что совсем на нее не походило. Она легко поняла, кому понадобилось снова отправить Анри в Россию, чтобы охотиться за генералом Муравьевым, – господам из разведки, которые через Анри пытались дотя-

нуться до нее. Да, приходится признать – они сумели дотянуться через Элизу (подлая предательница!), да вот только лапы свои обожжете, *merde canine*¹⁵!

«... Не трудитесь оправдываться, – написала Катрин в письме, – я вас вычислила и поняла, что вы и в Иркутске-то появились с определенным заданием – подобраться как можно ближе к моему мужу, чтобы выведывать государственные секреты. Уезжайте немедленно! Придумайте что-нибудь, чтобы объясниться с бедным Иваном Васильевичем, и уезжайте. Это нужно для вашего же блага, потому что я буду вынуждена все рассказать Николаю Николаевичу, а он церемониться со шпионкой не станет. Мне же вас жаль – я к вам привыкла и чрезвычайно привязалась. И порываю с вами не из-за того, что боюсь вас – хуже того, что вы сделали для меня, уже не будет, – но ваши сведения обо мне были использованы для убийства чудесной невинной женщины. Поэтому я с великой болью, и навсегда, вырываю вас из своего сердца...»

Стоит ли говорить, что каждая строчка этого письма сопровождалась слезами презрения – главным образом к самой себе, – слезами горечи и сожаления. Катрин оплакивала свою наивную молодость, которая так быстро и так неожиданно закончилась.

5

Предсказанные Коленкуром сложности проявились сразу после отъезда генерала Муравьева из Парижа в Лондон. Вернее, даже немного раньше – на следующий день по приезде в Париж.

Остановились Муравьевы у тетушки Катрин Женеьевы де Савиньи, которая недавно овдовела. Узнав о приезде племянницы, она пригласила супругов погостить у нее в собственном доме на Рю Мазарен. Бог мой, обрадовалась Катрин, там же все рядом! Латинский квартал, Люксембургский дворец и сад, Сорбонна, Пантеон... Пять кварталов до Нотр-Дам – чудесная пешая прогулка! А через Сену, по Новому мосту, рукой подать до Лувра, Публичного сада, театра Комеди Франсэз. И, разумеется, до модных магазинов и кофеен Риволи!

– Николя, дорогой, ты помнишь, как мы с тобой обошли весь Иль-де-ла-Сите? – спросила она, любуясь в окно: слева – островерхими башнями Консьер-жери, справа – монументальными Нотр-Дама, выглядывающими из-за крыш домов на Рю Дофин и Рю де Савау.

– Да, – откликнулся отдыхающий в кресле Николай Николаевич. Он только что выдержал обстрел дотошными вопросами тетушки Женеьевы, стремившейся вызнать все досконально о муже своей любимицы, и чувствовал себя до крайности измотанным. – Где-то там мы с тобой обнаружили оружейную лавку и вдоволь постреляли. Кстати, надо будет ее найти и запастись патронами к нашим лефоше. Ты свой нигде не забыла?

– Разумеется, нет. – Екатерина Николаевна опечалилась, вспомнив о том, что один револьвер был подарен мужем Элизе Христиани, и вдруг оказалось, что она даже неплохо стреляет. Как странно, что тогда это никого не насторожило. Наоборот, все порадовались такому умению. – Дороги полны неожиданностей даже в благовоспитанной Европе.

– Это верно, – заключил муж. Он-то имел в виду недавний случай на Лазурном берегу, о котором не рассказывал впечатлительной жене.

Там во время вечерней прогулки в курортном парке с князем Гагариным их вздумали ограбить трое то ли бандитов, то ли клошаров. Князь посоветовал не сопротивляться и отдать портмоне, но Николай Николаевич вынул револьвер, который носил в специальной петле под полый сюртука, и одним выстрелом в воздух заставил нападавших бежать без оглядки. Князь был безмерно удивлен предусмотрительностью генерала, но горячо одобрил ее, когда Муравьев рассказал про покушение на него в Петербурге зимой 1848 года; именно после этого он и придумал иногда скрытно носить револьвер. Это все-таки удобней, чем ходить с саблей.

¹⁵ *Merde canine* – дерьмо собачье (*фр.*).

Екатерина Николаевна после поездки на Камчатку также брала лефосе с собою в любое, даже кратковременное, путешествие. Но не прятала его в одежде, а держала в своей ручной сумке. Тяжеловато, конечно, однако – надежно. Хоть и хороша русская поговорка «Береженого Бог бережет», но куда лучше «На Бога надейся, а сам не плошай». Тоже русская, между прочим.

Утро следующего дня было превосходным. После общего с тетушкой завтрака, за которым Женестьева де Савиньи, изящная сорокалетняя блондинка, блистала парижским остроумием, Муравьевы в наилучшем расположении духа отправились на прогулку по Рю Дофин к острову Сите. Оружейная лавка нашлась на набережной Гран Огюстен между Новым мостом и площадью Сен-Мишель. Удивительно, но ее хозяин вспомнил их посещение, с удовольствием выслушал россыпь похвал револьверам лефосе и продал несколько коробок патронов со значительной скидкой.

Но когда, уставшие и довольные они вернулись домой, в Женестьеве обнаружилась резкая перемена: она стала мрачной и желчной и заявила Катрин, что у нее внезапно обострилась болезнь печени, и племяннице придется пробыть какое-то время сиделкой.

– Вы говорили о поездке в Лондон, – лежа в постели, тяжело дыша и кривясь от боли, сказала она Муравьевым, обращаясь главным образом к зятю. – Боюсь, мон шер, вам придется съездить туда одному. В моем недомогании бывает ряд интимных моментов, которые лучше доверить близкой женщине, и приезд Катрин оказался очень кстати. А в Лондон я возила ее еще девочкой, так что она много не потеряет. Вы уж простите...

– Жаль, очень жаль, – скрывая недовольство, отозвался Николай Николаевич. – У нас были планы и по Парижу.

– Дорогой, мы сделаем так, – вмешалась Екатерина Николаевна, – ты сейчас поедешь в Лондон и выполнишь все задуманное, а когда вернешься – думаю, тетя уже выздоровеет.

– Обязательно выздоровею! Не будь я покровительница Парижа!¹⁶ – воскликнула больная со страдальческой улыбкой.

Катрин ободряюще улыбнулась ей в ответ, а Муравьев вздохнул:

– Хорошо. Тогда я не буду терять время и ближайшим поездом выеду в Кале, а там и в Англию.

– Катрин, девочка моя, пошли мажордома заказать для Николая место в вагоне первого класса, – слабым голосом произнесла Женестьева и утомленно откинулась на подушки, всем своим видом показывая, что чрезвычайно устала.

Муравьев поспешил выйти из спальни.

Наутро он с женой прибыл на вокзал Гар-дю-Нор. Маленький, тесный, битком набитый пассажирами и провожающими, он произвел на Катрин угнетающее впечатление. Ей вообще было как-то не по себе, томило нехорошее предчувствие, но она отнесла это на счет болезни тетушки и разлуки с мужем. А может быть, просто отвыкла в глухой провинции от шумной столичной жизни. Катрин проводила Николая до вагона, помахала ему на прощанье и, торопливо пробравшись сквозь суетливо-бестолковую толпу пассажиров и провожающих, вышла на Рю Сен-Кентен, чтобы остановить свободный фиакр – до Рю Мазарен путь был недалек.

На подъехавшую к тротуару крытую повозку она не обратила внимания, ей хотелось ехать в открытом экипаже, чтобы любоваться парижскими улицами и до возвращения к постели больной вдоволь подышать свежим воздухом. Однако дверца фиакра распахнулась, из его темного нутра высунулись две руки в черных кожаных перчатках, ухватили Катрин за рукава платья, и не успела она опомниться, как оказалась на ковровом сиденье между двумя мужчинами в одинаковых черных сюртуках и цилиндрах.

¹⁶ Святая Женестьева (420–502) – покровительница Парижа.

Катрин открыла рот, чтобы позвать на помощь, но губы и нос зажал пахнувший чем-то неприятным платок, перед глазами проплыло усатое лицо с холодными глазами, и сознание покинуло ее.

Очнулась Катрин от легких пошлепываний по щекам. Видимо, обморок ее длился недолго, потому что она все еще находилась внутри экипажа – только он теперь стоял, и дверца была открыта. Шлепал ее по щекам тот самый усатый. Второго в фиакре не было.

– Я закричу, – сказала Катрин и вцепилась в руку усатого.

– Кричите. – Усатый равнодушно пожал плечами и вдруг ловким движением вывернул свою руку из пальцев Катрин, схватил ее за локоть, дернул и вытолкнул из экипажа.

Тело Катрин молнией пронзил острый испуг – ей на мгновение показалось, что она сейчас упадет навзничь на булыжники мостовой и разобьется, но в тот же миг сильные мужские руки подхватили ее и поставили на ноги.

– Благодарю, – машинально сказала она. Подняла голову и увидела немного ошалелые бледно-голубые глаза под черными полями цилиндра.

– Скажи-ка мне, Франсуа, – обратился нечаянный кавалер Катрин к усатому, выпрыгнувшему из экипажа, – тебя когда-нибудь благодарили задержанные дамы?

– Что-то не припомню такого, – хмыкнул Франсуа. – Брань площадную слышать доводилось – и от мужчин, и от женщин, а благодарности, пардон, никогда.

– Так я задержана? – вспомнив предупреждение Коленкура, спросила Катрин и огляделась по сторонам. Они находились в небольшом, почти квадратном внутреннем дворе, с трех сторон его окружали стены трехэтажного здания – все окна первого этажа перехвачены решетками, – с четвертой были глухие высокие ворота, через которые, видимо, фиакр и въехал. – Хотелось бы узнать – за что?

– Да, собственно, чего нас благодарить? – продолжал разглагольствовать усатый Франсуа, не обратив на вопрос Катрин никакого внимания. – Работа у нас с тобой, Жанно, так и называется – неблагодарная.

– Пройдемте, мадам, – указал Жанно на невысокое крыльцо, подпирающее массивную дверь, возле которой на цепочке висел деревянный молоток. – Там все узнаете.

К двери вели три каменные ступени. Жанно поднялся первым и постучал молотком в дверь – не простым стуком, а замысловатым. Катрин внутренне усмехнулась: надо же, целая, можно сказать, крепость, а все же чего-то опасаются. Она почему-то не чувствовала страха – ни от произошедшего, ни от предстоящего, которое пока что было покрыто мраком неизвестности.

Глава 4

1

Невельской спешил занять Де-Кастри и Кизи.

Он еще не получил высочайшего повеления учредить в этих пунктах военные посты и выделить Сахалинскую экспедицию – почта с этими указаниями придет только в июле, – и, как всегда, сам принимал необходимые, на его взгляд, решения. На свой страх и риск.

Риск, разумеется, был, а вот страха – нет. Или – почти нет. То ли отвык бояться, то ли привык, что все, в конце концов, получается так, как задумывалось им. А Катенька не упускала случая восхититься его действиями во славу нового величия России и ядовито посмеяться над близорукостью и приземленностью указаний генерал-губернатора. В глубине души Геннадий Иванович признавал, что она несправедлива в своем неприятии Муравьева, что его, Невельского, предложения преобразуются в высочайшие повеления и правительственные указы, а действия оправдываются главным образом (иногда единственным) потому, что в столице за них ратоборствует Николай Николаевич, но все чаще награды, которые получал Муравьев из рук императора, вызывали глухое раздражение. Он ловил себя на этом, сердился, потому что понимал: у генерал-губернатора много иных заслуг перед государем и Отечеством, но осадок оставался и накапливался.

И тем не менее начальник Амурской экспедиции по-прежнему был верен себе: надо идти избранным курсом, а история потом все расставит по местам. Потому и торопился.

Мичман Разградский и приказчик Березин по его указанию заготовили на середине пути от Николаевского до Кизи, в селении Пуль, продукты для группы Бошняка, которой предстояло поднять в Де-Кастри русский флаг и заняться обследованием побережья дальше на юг, имея ближайшей целью залив Хаджи. Кроме того, Березину предписывалось возле селения Котово, в двух верстах от Кизи, с помощью местного населения готовить лес, имея в виду, что с началом навигации там будет основан русский военный пост.

Как только Разградский сообщил, что все исполнено, Невельской немедленно отправил группу Бошняка, в которую вошли художник Любавин, казаки Парфентьев и Васильев и тунгус Иванов. Бошняку Невельской приказал сразу после поднятия флага строить помещения для поста, приобрести хорошую лодку и с началом навигации идти на юг, тщательно описывая берега, делая промеры глубин и сравнивая результаты с картами Крузенштерна, Лаперуза и Броутона, поскольку уже неоднократно доводилось обнаруживать в этих картах грубые ошибки. Правда, если до конца быть честным, хотя Геннадию Ивановичу и льстило исправлять ошибки великих, в глубине души он не исключал того, что это все-таки были не ошибки, а результаты вулканических действий и землетрясений. За 75 лет после Лаперуза, да и за 50 после Крузенштерна береговые линии могли измениться просто неузнаваемо.

Помимо всего, Бошняк, как всегда, должен был следить за появлением иностранных судов и объявлять капитанам о том, что все побережье вплоть до Кореи принадлежит России, и любые их действия против местного населения влекут за собой серьезную ответственность.

В отчете генерал-губернатору о своих действиях Невельской писал: «Из этого, ваше превосходительство, извольте видеть, что залив Де-Кастри и селение Кизи ныне занимают и что из залива с открытием навигации начнутся обследования берега к югу, в видах разрешения морского вопроса, обуславливающего важное значение для России этого края...».

Он знал, что Муравьев обязательно обратит внимание на его стремление обследовать побережье как можно дальше на юг, чтобы найти удобные незамерзающие бухты, обратит и будет весьма недоволен – генерал-губернатор убежден, что Авачинская губа и Петропавлов-

ский порт – наиглавнейшие точки приложения сил для утверждения России на Тихом океане. Слов нет, бухта по-своему уникальна, но все ее преимущества съедает одно-единственное неприятное обстоятельство: при извечном российском бездорожье она слишком далека от центров снабжения, и базирование там флота станет для империи непосильной обузой.

Разумеется, армия и военный флот – для государства всегда обуза, но, имея хотя бы один незамерзающий порт на востоке, Россия сможет торговать со всеми прилегающими к океану странами. Это сторицей окупит все затраты, одновременно развивая окраину, богатства которой – в этом генерал-губернатор и начальник Амурской экспедиции однозначно согласны – просто неизмеримы. Правда, чтобы добраться до них, опять же нужны дороги, дороги и дороги. И не чрез лет пятьсот, как писал Пушкин (с Орловым как-то опять говорили об «Евгении Онегине»), а гораздо ранее. Хотя бы через сто – сто пятьдесят. У нынешнего правительства, ясное дело, денег нет (миллионы тратят неизвестно на что), так может, внуки-правнуки будут умнее и поймут, что без дорог никакому государству никогда не быть богатым. Все блага цивилизации приходят только по дорогам, а бездорожье – это сплошная дикость и глухомань.

Бошняк и Березин в марте почти одновременно сообщили, что первые этапы задания выполнены. Невельской был доволен, но его беспокоило отсутствие достоверных сведений о главных фарватерах Амурского лимана. Те каналы, что известны, для морских судов мелковаты, но местные жители говорили, что есть более глубокие – один из них идет из реки вблизи от мыса Пронге к середине лимана и там, возможно, соединяется с Сахалинским, протянувшимся вдоль острова. Узнав об этом, Невельской тут же отправил в Николаевский пост подпоручика корпуса штурманов Воронина и мичмана Разградского с заданием по вскрытии реки и лимана двумя командами на лодках проверить, существуют ли в действительности эти каналы.

Не упустил он из виду и нескончаемый сбор свидетельств и доказательств того, что земли по Амуру (да и по Уссури тоже) никогда не принадлежали Китаю. Нескончаемый – потому что боязнь потревожить интересы Китая была у канцлера Нессельроде и его когорты навязчивой и неутолимой.

Вот и вернувшийся из командировки за продуктами Дмитрий Иванович Орлов (привез он скверную гаоляновую водку и просо) доложил, что на Амуре были два миссионера, но аборигены их избili чуть не до полусмерти и прогнали, заявив, что предпочитают жить с русскими. Да и маньчжурские торговцы выражали удовольствие, что русские, поставив посты в Кизи и Де-Кастри, взяли этот край под свое покровительство, и даже предлагали, чтобы лоча¹⁷ поселились выше по Амуру, поближе к Сунгари, – для удобства торговых отношений.

То же самое сообщали Бошняк и Березин; приказчик устроил в Котове расторжку с гиляками, мангунами, гольдами и другими туземцами. Николай Константинович, кроме того, писал о том, как его группа добралась до таинственного залива Хаджи-Ту и обнаружила доселе не известную европейцам великолепную гавань, которую он назвал Императорской в честь Николая I. Гавань имела кроме основной еще несколько бухт, получивших названия в честь императрицы Александры, цесаревича Александра и великого князя генерал-адмирала Константина. «Залив, – сообщал в своем донесении лейтенант, – опоясан горными отрогами, отделяющимися от хребта, идущего параллельно берегу моря. По склонам обращенных к заливу гор произрастают кедровые леса. Каждая из бухт составляет обширную гавань, из которых бухта великого князя Константина особенно замечательна по приглубым берегам своим, к которым могут приставать суда всех рангов...»

– Какой же молодчина наш Коля! – говорил Геннадий Иванович, оторвавшись от чтения вслух письма лейтенанта. Катенька любила его слушать. – И как ему повезло сделать такое

¹⁷ Так, начиная с середины XVII века, маньчжуры называли русских. Сначала это слово имело сакральное значение – «демоны, преследующие людей», – а со временем превратилось в своеобразный этноним.

замечательное открытие! Это Бог вознаградил за все его труды и страдания в нашей экспедиции.

– Только напрасно Коленька поспешил с названиями, – задумчиво произнесла Екатерина Ивановна. – Этот залив следовало назвать его именем, а бухты – именами его товарищей. Честь императорской семьи несколько бы не пострадала: их имена и так уже красуются на картах. Они попадают в историю только по праву рождения, а вот твои офицеры – настоящие герои, это они должны остаться в памяти людей и после своей смерти, дай им, господи, долгой жизни! Это было бы честно и справедливо!

Последние фразы она произносила с уже присущей ей горячностью, раскрасневшись и сверкая огромными голубыми глазами, а упомянув Господа Бога, не забыла перекреститься. Геннадий Иванович с улыбкой смотрел на свою неукротимую жену и в который раз думал: «Боже мой, как же мне повезло! И за что, спрашивается, такое счастье? Она так самозабвенно любит мое дело, моих товарищей, так беспокоится о них, порою совершенно забывая о своих тяготах и горестях! Катенька, ты – чистая и беззаветная душа нашей экспедиции. Вот чьим именем я бы с радостью назвал свое самое замечательное открытие, но... не могу! Не имею права!»

Нет, право-то он имел. По неписаным международным законам первооткрыватель мог дать своему детищу любое имя, в том числе и собственное или имена родных и близких. Однако не в российских традициях было запечатлеть для истории себя или свою родню, и Геннадий Иванович, как и все его офицеры, традиции эти чтит.

– Что же ты молчишь, дорогой? – прервал его размышления осторожный голос жены. – Я что-то не то сказала?

– Ты сказала все просто замечательно! – Невельской обнял Катеньку за плечи и поцеловал в золотой завиток на виске. – Просто я немного задумался о честности и справедливости.

– И, как всегда, надумал что-то гениальное? – Она искоса лукаво глянула на него. Он смутился, а она засмеялась: – Ладно, я пошутила. Читай Коленькино письмо дальше. Он так интересно пишет!

Геннадий Иванович пожал плечами – письмо как письмо: за три года работы экспедиции он прочитал десятки таких сообщений. Доклад Бошняка, конечно, весьма ценен новыми данными о матером побережье Татарского пролива – описаниями ландшафта и жизни аборигенов, определениями координат рек, островов, бухт и прочих деталей береговой линии, но читать все это подряд, загружать милую головку специальными подробностями – зачем? Поэтому он читал медленно, с остановками, выбирая то, что действительно могло заинтересовать молодую женщину.

«Различные люди, встречавшиеся на пути, рассказывали мне, что до селения Кульмути, лежащего в 300 верстах от устья реки Самарги, ведется торговля с приезжающими туда инородцами и маньчжурами с рек Уссури и Сунгари; до этого селения ни хлебопашеством, ни огородничеством не занимаются; далее же к югу внутри страны есть манзы, которые имеют скот и огороды и занимаются хлебопашеством». Вот это чрезвычайно важно, – добавил Невельской от себя. – Если мы здесь разовьем хлебопашество и огородничество, да еще будет свой скот, то перейдем на полное самоснабжение. О чем еще мечтать? Живи, трудись и радуйся! Вот она, основа для создания российского тихоокеанского флота!

– Читай дальше, мечтатель!

– Да читаю, читаю... «В расстоянии около 800 верст от реки Самарги в большой залив впадает река Суйфун. С этой реки ездят в корейский город и на большое озеро Ханка, которое соединяется с рекой Уссури. На побережье Татарского пролива между реками Самаргою и Суйфу-ном, по словам населения, есть много закрытых бухт, из коих некоторые иногда вовсе не замерзают, и бухты эти находятся недалеко от реки Уссури. Река Самарга... имеет берега, покрытые строевым дубом и кленом; она глубока на пространстве около 200 верст, и по ней

могут подыматься большие лодки. С этой реки ездят на Уссури через реку Хор и притоки. Этот путь – около 400 верст... Все жители побережья Татарского пролива ни от кого не зависят, никому ясака не платят и никакой власти не признают». Вот, Катенька, для Нессельроде еще одно свидетельство, – голос Невельского даже зазвенел, торжествуя, – что никаких китайцев в этих землях отродясь не было! И для Муравьева толчок: надо на юг стремиться, а не на север, на Камчатку, к черту на кулички. Тут и бухты незамерзающие, и хлебопашество, и скот! И путь к тем бухтам есть прямой, через Уссури! Сюда люди русские потянутся! А будут люди – будет Россия тут стоять. Двумя ногами! Да-а, Бошняка буду представлять к ордену. За Сахалин он получил «Владимира» четвертой степени, за Императорскую гавань буду просить для него «Анну». Думаю, Муравьев поддержит.

– Муравьев за Колю уже свой орден получил, – язвительно сказала Екатерина Ивановна. – Императорский и царский – Белого Орла!

– Каждому – свое. Он себя не представлял, а меня представил. Я тоже получил – «Анну» второй степени с короной, и этот орден тоже императорский. Для моего чина – высочайший, – умиротворяюще произнес Геннадий Иванович. И печально добавил: – Из-за болезни Тюшеньки ты и порадоваться за меня не смогла...

Тюшенькой все называли дочку Невельских Катюшу, которая почти постоянно болела из-за отсутствия материнского молока.

Екатерина Ивановна быстро взглянула на него сразу повлажневшими глазами и дрогнувшим голосом сказала:

– Знаешь, дорогой, я, кажется, опять беременна.

– Ну и слава Богу! – только и сказал Геннадий Иванович и склонился, целуя и прижимая слегка огрубевшие ладони ее маленьких рук к своим мокрым щекам.

2

Майор Буссе был в отчаянии.

Нет, поначалу-то он впал в ярость. Он прибыл в Аян 25 июня, но не нашел там ни корабля, на котором должен был отправиться в Петропавловск за десантом для Сахалина, ни заготовленных для десанта срубов домов, о чем говорилось в его командировочном предписании. Начальник Аянского порта капитан-лейтенант Александр Филиппович Кашеваров, коренастый креол с широким, грубо вырубленным черноусым лицом, красновато-смуглым то ли от матери (она была алеуткой), то ли от морского загара, принимая майора с визитом, в ответ на его негодование, замешанное на лейб-гвардейском высокомерии, добродушно рассмеялся:

– Человек предполагает, а Бог располагает, любезный Николай Васильевич. Корабли ходят здесь не по петербургским предписаниям, а по погоде, которой, как вы, должно быть, знаете, распоряжается Господь.

– Ну хорошо, это погода, а срубы для домов тоже в ведении Господа? Я их должен доставить в Петровское вместе с десантом и снаряжением никак не позднее 1 августа.

– Срубы – дело рук человеческих. Но откуда они могли взяться, любезнейший, ежели я узнал об их заготовке только из ваших бумаг? Как можно из них понять, десант на Сахалин предложил государю граф Нессельроде. Это какой же светлый ум у нашего канцлера! – покрутил головой капитан-лейтенант. – Набрать в Камчатке сто человек крепких людей – некрепким-то там делать нечего – и на компанейском корабле отправить зимовать на дикие берега. А вот заказать для них дома – забыть!

– Да это, может, и не канцлер придумал, а какой-нибудь чиновник из его министерства, – постепенно сникая, попробовал возразить майор.

– Может быть, может быть, – охотно согласился Кашеваров. – Наши чиновники в эмпиреях витают. Они искренне считают: раз ими сказано – значит, нами уже и сделано. А то, что

между сказанным и сделанным много тысяч верст, да все горами, лесами и болотами, – это в расчет не берется. – И вдруг сменил интонацию с саркастической на деловую. – Так вот, любезный Николай Васильевич, мы ждем со дня на день транспорт «Байкал» из Охотской флотилии. Почему бы вам не отправиться на нем?

– Не могу! – почти простонал Буссе. – Мне приказано пользоваться только судами Компании. Ей на обслуживание Сахалинской экспедиции выделяется пятьдесят тысяч серебром, а тратить деньги Амурской экспедиции я не имею права. И, кроме того, «Байкал» ведь военное судно?

– Военный транспорт. Кстати, любимый корабль Невельского, это на нем он открыл, что Сахалин – остров, и устье Амура обследовал. А к чему ваш вопрос?

– Первый же пришедший в Аян военный корабль следует загрузить товарами и военным снаряжением и отправить в Петровское. Груз пойдет для Сахалинской экспедиции. А корабль останется в распоряжении Невельского. Будет патрулировать лиман и пролив. Скажите, Александр Филиппович, а когда придет бриг Компании «Константин»? Именно он назначен для перевозки десанта.

Кашеваров покачал головой:

– Хотел бы вас утешить, но, честное слово, затрудняюсь. Во-первых, на «Константине» такой десант со всеми его тяжестями не сможет поместиться, во-вторых, бриг стар и весьма ненадежен, а в-третьих, если он и придет в Аян, что вполне невероятно, то разве самой поздней осенью.

– И что же мне делать?! – Остатки гвардейского лоска сползли с майора прямо на глазах. Он схватился за голову. – Первое задание – и такой афронт!

– Поскольку «Байкал» пойдет к Невельскому, напишите Геннадию Ивановичу, что и как, а сами отправляйтесь с оказией в Петропавловск. Набрать сто человек у Завойко – задача тоже ой-ой-ой! Уж больно прижимист Василий Степанович, а у нас тут каждый человек на счету – Кашеваров немного подумал, расхаживая по гостиной, в которой принимал майора. Буссе с затаенной надеждой следил за ним. – Хорошо, Николай Васильевич, поскольку обеспечивать Сахалинскую экспедицию должна наша Компания, я, будучи ее служащим, смогу вам немного помочь людьми. Человек пятнадцать сумеем тут набрать, может, чуть больше, и вы их с грузом отправите Невельскому на «Байкале». Кстати, к нему едут священник, отец Гавриил, и офицер, капитан-лейтенант Бачманов, с женами. Бачманов направлен к Невельскому заместителем начальника экспедиции. Вот он и присмотрит за людьми и грузом.

– Спасибо, Александр Федорович, хоть что-то получится. А какова оказия для меня?

– Да ходит по Охотскому бот «Кадьяк». Старенький, гниловатый. Каждый год его латают, вот вроде бы и держится. В начале июля придет из Гижиги, заберет здесь груз и пойдет в Петропавловск. Он, конечно, тоже не компанейский, под началом у Завойко, так ведь и вы – человек государственный, порученец самого генерал-губернатора.

– А не опасно ли на гниловатом?

Кашеваров посмотрел на красавца-майора, к которому начал возвращаться былой лоск, и хмыкнул:

– Мы ж офицеры, любезный Николай Васильевич, и каждую минуту должны быть готовы умереть за Бога, царя и Отечество.

– Так то в бою, а за просто так утонуть... Бр-р-р!

– Ничего, вода не столь уж холодная, можно и выплыть. Да и в Охотском море китобоев полно. Увидят – спасут.

Буссе подозрительно посмотрел на капитан-лейтенанта: смеется он, что ли? Но Александр Филиппович был невозмутим, только подрагивали еле заметно кончики черных усов. В том же тоне он добавил:

– Вы бы сходили в церковь на благодарственный молебен. Сегодня же царский день¹⁸. Заодно и помолитесь во спасение. Службу совершает сам архиепископ Иннокентий! Он с прошлого года у нас частенько бывает, можно сказать, живет вторым домом. Резиденция-то у него в Якутске.

– А вы идете?

– Непременно! Лицедреть и слушать владыку Иннокентия – значит, получать истинное душевное наслаждение. Чудный пастырь! Ему бы митрополитом в Москве быть, а он – тут, Апостол Сибири и Америки. Небось знаете, что он двадцать пять лет Русскую Америку окормлял? Своими руками церковь построил и сам Священное Писание на алеутский перевел, чтобы вера христианская туземцам понятней была. А теперь, я слышал, хочет на якутский перевести. То-то радость якутам – службу на своем языке послушать.

– Да уж, наверное, – неопределенно ответствовал майор.

Он решительно не мог взять в разум, зачем нужны эти переводы. В России, вон, службы идут на церковнославянском, который, похоже, никто (Николай Васильевич даже подозревал, что и сами священнослужители) не понимает, и ведь ничего – вера не рушится, а только укрепляется. Конечно, со временем, возможно, найдутся последователи святителя Иннокентия, переведут каноны на русский язык, но будут ли от этого толк и польза – вот вопрос. Разве так уж важно, что именно поют и возглашают в храме – к Богу надо обращаться и разговаривать с Ним тет-а-тет, желательно в тишине, когда трепет твоей души пребывает в гармонии с Его чутким слухом, а между Ним и тобой нет никаких посредников в парчовых одеяниях. Вот тогда есть надежда, что Он поймет тебя и поможет. А сквозь громогласное пение диакона и торопливое чтение канона твоя молитва может к Нему и не прорваться.

– Ну вот что, любезнейший Николай Васильевич, – решительно прервал Кашеваров теологические размышления майора, – сейчас мы вместе идем на молебен, потом будет обед в доме святителя, это возле церкви, а затем вы переберетесь ко мне. Вы же нигде не остановились?

– Откуда вы знаете? Дорожный сундук я оставил на станции...

– Да как же мне не знать? Нижние чины у нас останавливаются в казарме, а офицерам податься некуда, кроме моего дома. Тут наверху, в мезонине, комнатка на три кровати. Две заняли Бачманов и отец Гавриил, а третья свободна. Вот вам и пригодится.

– Благодарю, – только и смог сказать Буссе, ошеломленный таким напористым гостеприимством. – А их жены? Вы же сказали, что они с женами.

– За их жен не беспокойтесь, они устроены на первом этаже, у моей супруги.

Да-а, пожалуй, такому гостеприимству не помешает и учиться, может быть, даже как искусству.

3

По новому штату, утвержденному правительством, Амурская экспедиция увеличилась более чем в пять раз. Правда, пока лишь на бумаге.

Начальник экспедиции получил права губернатора или областного начальника. Из камчатского экипажа должны были откомандировать 240 флотских нижних чинов для формирования роты. Командир этой роты, штаб-офицер¹⁹, назначался помощником начальника. В роте должны состоять 7 офицеров. Кроме того, при экспедиции, сверх морских чинов, должны

¹⁸ Царские дни – праздники в память событий из жизни царствующего дома. 25 июня – день рождения Николая I.

¹⁹ Штаб-офицеры – категория старших офицерских чинов в русской армии и на флоте до 1917 года, соответствовавших VIII–VI классам Табели о рангах, то есть майору, подполковнику и полковнику (на флоте – капитан-лейтенанту, капитанам 2 и 1 ранга). Штаб-офицеры имели право на обращение «ваше высокоблагородие».

быть сотня конных казаков с двумя офицерами и взвод горной артиллерии при двух офицерах, а также доктор, два фельдшера, священник с походной церковью, правитель канцелярии с помощниками, три писаря, содержатель имущества... Господи, где набрать такую прорву людей, думал Невельской, как их снарядить, где разместить и чем кормить, если всего около года тому назад 50 человек умирали здесь с голоду, и никому до них не было дела. Ладно, там посмотрим, а вот о том, что все чины экспедиции отныне пользуются морским довольствием по камчатскому положению, что офицеры получают пенсии за пять лет служения в том размере, какой определен по закону за десять лет службы в Охотске и на Камчатке, что служба в экспедиции считается год за два года для нижних чинов – можно сказать, что наконец-то справедливость восторжествовала. Будет хоть какое-то вознаграждение за ту самоотверженность, что два года двигала всеми членами экспедиции. Ну и наконец кончится двойное подчинение, и он, Невельской, во всех отношениях будет состоять под непосредственным началом генерал-губернатора Восточной Сибири.

Кстати, Муравьев тут же и проявил свое главенство над экспедицией, прислав подробные указания и инструкции в отношении Сахалина, который правительство признало российским, но отдало в ведение Российско-Американской компании. Занятие острова оно определило главной задачей новой, Сахалинской, экспедиции, временно, до прибытия правителя-администратора, ставя ее под начальство Невельского. Геннадий Иванович получил право (скорее, обязанность) основать на острове несколько военных постов из десанта, который доставит с Камчатки майор Буссе, при необходимости переводя на службу в Компанию своих людей. Разумеется, на ее полное обеспечение.

Невельской горько усмехнулся, читая в инструкции про обеспечение, уж он-то испытал в полной мере, что это означает на самом деле. До чего же наивными бывают даже генерал-губернаторы! Или это качество присуще всем высоким российским начальникам? Они, пожалуй, искренне считают, что их слово – закон, немедленно принимаемый к исполнению. Увы! Увы! Увы! Вот Муравьев пишет, что в начале июля в залив Счастья придет 16-сильный пароход, закупленный Компанией в Англии специально для обслуживания экспедиции, а о нем ни слуху ни духу. А ведь Геннадий Иванович не просил, а взывал к начальству: пришлите два винтовых корабля с паровыми баркасами, без них невозможно ни обследовать фарватеры лимана, ни нести патрульную службу, тем самым показывая иностранным судам, что эти воды и берега принадлежат России.

И вот – удостоились: куплен пароход, аж в Англии и аж в 16 лошадиных сил! А что такое 16 сил? Он же на Амуре против течения не выгребет и сулой²⁰ в лимане не одолеет, а говорить будут: вы просили пароход, мы вам дали – чего еще надо? Много чего, господа, надо – в первую очередь совесть иметь и ответственность перед Отечеством, радеть об его чести и величии! Вам такой кусок земли первозданной в управление дают – там и леса строевые, и уголь прямо на поверхности, и реки рыбные, и пушного зверя не считано, Коля Бошняк на своем здоровье эти знания вынес – пользуйтесь, но и обследуйте, добывайте, но и защищайте. Тогда и служить она вам будет вечно.

Геннадий Иванович разволновался, словно и в самом деле говорил речь перед компанейскими акционерами. Хотя понимал: его бы и слушать никто не стал – им кроме легких прибылей, ничего не нужно. Сегодня вложил рубль, завтра получил три, четыре, пять – вот это стоящее дело, а ждать отдачи несколько лет – увольте!

– Геночка, дорогой, что ты там бормочешь? – послышался сонный голос Катеньки. – Иди спать. Тебе же завтра плыть вокруг Сахалина.

²⁰ Сулой – взброс воды на поверхности моря, возникающий, например, при столкновении разнонаправленных потоков, выходе течения из узкости или при сильных ветрах, направленных против течения. Водная поверхность в зоне развитых сулоев напоминает поверхность кипящей воды. В некоторых районах сулой достигает высоты 3–4 метра и может представлять опасность для плавания небольших судов.

Да, Невельской собирался обойти на «Байкале» Сахалин – сперва на север, далее вдоль восточного берега острова до залива Анива, затем через пролив Лаперуза войти в Татарский пролив и подняться до бухты ДеКастри. Основать два-три поста в южной части острова, один в Де-Кастри и последний пост – пока последний – возле селений Кизи и Котово, до которых добраться, естественно, по земле.

Почему последний – пока? Да потому, что Геннадий Иванович не собирался ограничиваться Сахалином, ДеКастри и Кизи. Впереди ждала Императорская гавань, тщательно описанная Бошняком, и тот огромный залив, о котором говорили аборигены и от которого рукой подать до Уссури. Пройди Бошняк этим путем, и уже сегодня можно было бы говорить о принадлежности России края, ограниченного с востока морем, а с запада – Амуром и Уссури. Но группа лейтенанта двигаться дальше на юг не смогла из-за острой нехватки продовольствия, они и так шесть дней обратного пути питались ягодами и рыбой, а самого Николая Константиновича свалила болезнь.

Муравьев в своем циркулярном письме предупредил, что граница с Китаем должна быть по левому берегу Амура, поэтому продвигаться южнее Де-Кастри и Кизи нельзя, но оговорился – наверное, не без умысла, – что это было предложено графом Нессельроде. Тот все еще опасался мифического китайского войска в районе слияния Амура и Уссури, которое в любой момент может двинуться против ничтожной горстки русских, спустить поднятый на Амуре русский флаг и тем самым унизить великую державу. Однако экспедиция уже третий год всюду орудует в Приамурье, а китайцы на это никак не реагируют. Все предыдущие «преступления» Геннадия Ивановича, за которые ему не раз грозили матросской курткой, приводили в конце концов к признанию правильности его действий, а то и к наградам. Во всяком случае, служба на Балтике в мирное время, вряд ли можно было подняться за четыре года от капитан-лейтенанта до капитана I ранга и получить два ордена. Конечно, тут велика роль и генерал-губернатора – надо признать, что во всех острых моментах Муравьев был на стороне Геннадия Ивановича и аки лев бросался на его защиту перед сильными мира сего, – но, с другой стороны, и сам Николай Николаевич не оставался в накладе: в той же звезде ордена Белого Орла есть и золото Амурской экспедиции.

Да, вот еще – Геннадий Иванович вздохнул едва ли не обреченно, – ожидается визит американской эскадры. О ней писал Невельскому и новый глава морского ведомства, генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич: «По распоряжению президента Северо-Американских Штатов снаряжены две экспедиции: одна с целью установления политических и торговых связей с Японией, а другая – ученая – для обозрения берегов Тихого океана до Берингова пролива, почему правительство Штатов просило дружелюбного внимания и содействия этим экспедициям в случае, ежели бы суда зашли в пределы наших владений на азиатском и американском берегу. Государь император высочайше повелеть соизволил предписать начальствующим лицам в тамошних наших владениях оказывать экспедициям дружественное внимание и приветливость в должных границах благоразумия и осторожности». И добавлял в заключение своего вполне дружеского письма: «Вы должны исполнять все, что обыкновенно соблюдается союзными державами, но при этом для предписываемых Вам благоразумия и осторожности иметь постоянно в виду честь русского флага, достоинство нашей империи, мирно водворяемую нами в краях, где Вы находитесь, власть и ввиду этого необходимую прощательность».

То есть надо понимать: при встрече радушно улыбайся, но ухо держи остро – про честь, достоинство и престиж власти не забывай. А какой толк в этой востроухости, если радужные, а тем более престиж подкрепить нечем? Еще ведь неизвестно, чем обернется «дружеский визит» американцев. Недаром Коля Бошняк присылал оказией из Императорской гавани записку с известием, полученным от немецкого шкипера (а тот узнал новость аж на Сандвичевых островах), мол, этим летом американцы хотят в Татарском проливе занять бухту для пристанища

своих китобоев. А вдруг в самом деле захотят – как их остановить? Ну хорошо, посту в ДеКастри дана инструкция всегда держать на флагштоке российский военный флаг и, кроме того, объяснить незванным гостям, что из-за наличия в лимане настоящего лабиринта банок и мелей плавание по нему военных кораблей просто опасно, что «страна пустынна, гориста, без всяких путей сообщения; что по Нерчинскому трактату *et cetera* вся страна эта до корейской границы, равно как и остров Сахалин, всегда составляли и составляют российские владения». Ага, американцы, конечно, все как один джентльмены, поверят на слово. От этой нелепой мысли Геннадий Иванович даже хохотнул в голос, однако тут же спохватился, зажал рот и оглянулся на спящую жену, но та лишь поворочалась и снова тихонько засопела. В другое время он умилился бы этому нежному детскому сопению, но сейчас вслед за иронией снова пришло омрачающее душу воспоминание о поразительном бездействии правительства в отношении военного крейсирования вдоль сахалинского и материкового побережья. Впрочем, что уж ожидать понимания от бесконечно далекого Петербурга, ежели Муравьев, который как никто другой должен быть заинтересован в амурском деле, и тот начал лавировать, а то и вовсе сворачивать под ветер, дующий из столицы.

Вот, прислал требование устанавливать посты на берегах Сахалина «как можно южнее», а того не учел, что там нет ни одной бухты, пригодной для высадки десанта с последующей зимовкой. И ведь писано же об этом, и не раз! И что делать? Выполнить приказ – значит выбросить людей на произвол судьбы, а не выполнить... Ай, да что там, послушаться, поди-ка, не первой! Посему будем занимать главный пункт острова – японский рыбацкий поселок Тамари-Анива, там есть и средства для своза десанта с тяжестями, и условия для его первоначального размещения. Ну, разумеется, без ущемления рыбаков. Это же основное правило русских – действовать дружелюбием, а не силой, привлекать население на свою сторону не подачками, а согласием равных. Что из того, что местные жители понятия не имеют о власти, о границах? Зато у них личного достоинства ничуть не меньше, чем у любого европейца.

Итогом ночных размышлений Геннадия Ивановича явилось его очередное письмо генерал-губернатору, в котором он изложил свое видение операции по занятию острова и, конечно же, не удержался, чтобы снова не заявить: «Не на Сахалин, а на материковый берег Татарского пролива должно обратить главное наше внимание, потому что он, по неоспоримым фактам, представленным ныне экспедицией, составляет неотъемлемую принадлежность России. Только закрытая гавань на этом побережье, непосредственно связанная внутренним путем с рекой Усури, обуславливает важность значения для России этого края в политическом отношении; река же Амур представляет собой не что иное, как базис для наших здесь действий ввиду обеспечения и подкрепления этой гавани как важнейшего пункта всего края. Петропавловск никогда не может быть главным и опорным нашим пунктом на Восточном океане, ибо при первых неприязненных столкновениях с морскими державами мы вынужденными окажемся снять этот порт как совершенно изолированный. Неприятель одной блокадой может уморить там всех с голоду».

Невельской понимал, что такое письмо вполне может вызвать раздражение и гнев генерал-губернатора, но... пока оно дойдет до Иркутска, а если Муравьев к тому времени еще не вернется, то и до Петербурга, пройдет немало времени, к которому прибавится столь же немалое – для ответа, он за эти месяцы успеет и инструкцию выполнить по занятию Сахалина (разумеется, в своей интерпретации), и, по своему обыкновению, снова превысить данные полномочия – то бишь продвинуться как можно ближе к корейской границе, устанавливая посты в подходящих бухтах, а там, глядишь, и по Усури, и напротив устья Сунгари, и у подножья Хингана, там, где он перепрыгивает Амур... Ну, собственно, проложить фактически границу с Китаем, как обозначено в Нерчинском трактате.

Тогда, пожалуй, можно будет сказать, что он, капитан Невельской, свою миссию выполнил. А после этого и матросская куртка не страшна, хотя вряд ли до нее дойдет, ведь и Мура-

вьев, и долболобы из правительства не могут не считаться с тем, что никто, кроме Невельского с его самоотверженными товарищами, ничего подобного не сделает.

4

Взяв с собой 15 человек команды, художника Любавина и подпоручика Орлова, Невельской за двадцать два дня обошел на транспорте «Байкал» вокруг острова и еще раз убедился в том, что лучшего места, чем Тамари-Анива, для высадки десанта нет. Близилась осень, поэтому Геннадий Иванович направился в Императорскую гавань и 6 августа заложил там пост Константиновский (8 человек во главе с урядником, им оставили 850 пудов муки и крупы, чего должно было хватить, даже с избытком, на всю зимовку), поставив перед начальником поста задачу – построить на зиму жилье и, как обычно, наблюдать за появлением иностранных судов, оповещая их о принадлежности края России.

9 августа «Байкал» пришел в Де-Кастри, в основанный Бошняком пост Александровский, который возглавлял мичман Разградский, веселый, никогда не унывающий молодой человек.

Пост размещался в большой полуземлянке на берегу залива, в ней жили сам Разградский, два казака и тунгус, служивший переводчиком. Возле строения, ближе к воде, возвышался довольно высокий флагшток с Андреевским флагом, сделанный из неошкуренной березы («Где только нашли такую стройную?» – подумал Невельской. В Приамурье берез было великое множество, но все какие-то корявые, свиловатые). Позади полуземлянки виднелась поленница дров, а за ней – несколько штабелей не слишком толстых бревен, видимо, заготовки для строительства.

Все это капитан охватил одним взглядом еще при подходе шлюпки к берегу.

Команда поста выстроилась у флагштока для встречи начальника экспедиции. Мичман был в форменном сюртуке и морской фуражке, казаки и тунгус – в козлиных гулами и кожаных штанах шерстью наружу, заправленных в торбаза и олочи²¹. Лица исхудавшие, небритые; в руках казаков – кремневые ружья, у тунгуса – копье-пальма, из-за спины торчит лук, сбоку на перевязи – колчан со стрелами. Все держатся бодро, молодцом.

Шлюпка закрипела носом по полоске галечника, служившей своеобразной пограничной линией между владениями моря и суши. Невельской прыгнул на берег и, слегка увязая сапогами в сыпучем песке, пошел к флагштоку. За ним направились Любавин и Орлов.

Разградский шагнул навстречу капитану, вскинул пальцы к козырьку фуражки и звонким, почти мальчишеским голосом доложил:

– Ваше высокоблагородие, команда Александровского поста в честь прибытия в Татарский пролив первого русского корабля построена под флаг в полном составе. Больных и раненых нет. Командир поста мичман Разградский.

«В честь прибытия... первого русского корабля...» – Невельской, отдавая честь, на этих словах невольно оглянулся на свой любимый бриг, вставший на якорь в кабельтове²² от берега.

А ведь и верно, «Байкал» – первый в Татарском проливе! С чем тебя, милый, и поздравляю! Геннадий Иванович усмехнулся, скомандовал «Вольно!» и, позвав мичмана прогуляться по берегу, спросил:

– А иностранцы, Григорий Данилович, к вам не жаловали?

– Никак нет, Геннадий Иванович. – Разградский погрустнел. – Сплошные хозяйственные работы: валим деревья, ловим рыбу, охотимся... Надо бы строить казарму – людей не хватает.

²¹ Гулами – легкое охотничье пальто из шкуры козы, может быть без рукавов. Торбаза – мягкие сапоги из оленьих и нерпичьих шкур мехом наружу. Олочи – самодельная обувь из сыромятной кожи, в щиколотках стягивается шнурком или полоской кожи.

²² Кабельтов – единица расстояния, применяемая в мореходной практике, равная 0,1 морской мили, или 185,2 м.

– Я и тунгуса у вас заберу. Ненадолго – поведет нас к Кизи, потом вернется. А людей для строительства дам. Четырех человек.

– Неужто Дмитрия Ивановича? Он ведь у нас знатный строитель!

– Нет, не Орлова. Дмитрий Иванович на «Байкале» пойдет к западному берегу Сахалина, там на пятидесятом градусе есть небольшая бухта. Он высадится с пятью человеками, заложит с ними пост Ильинский, а сам двинется на юг до мыса Крильон в поиске мест для новых постов. Не хотел я их основывать раньше занятия Тамари-Анива, да, видно, придется, слишком уж запаздывает десант с Камчатки.

– Жаль, что не Орлова, – вздохнул Разградский, думая о своем. – Мы бы с ним казарму живо поставили. Надоело в сырой землянке. Это сверху тут сухой песок, а копни чуть глубже... Вы зайдите, Геннадий Иванович, посмотрите своими глазами.

– Сейчас и зайду, – кивнул Невельской. Он остановился, оглядывая панораму залива – широкую спокойную акваторию, окаймленную заросшими лесом буро-зелеными скалами, защищающими залив от ветров; в северной части выход в Татарский пролив частично перекрывали два острова, расстояние между которыми было примерно с милю, южнее и подальше располагался третий остров. Справа в залив впадала река Сомнин, а рядом с постом звенел чистой водой ручей Соколиный. – Прекрасная гавань! – воскликнул капитан. – Когда-нибудь здесь обязательно будет портовый город с железной дорогой. Жаль только, замерзает на целых пять месяцев.

– Ну к тому времени, когда здесь город построят, а уж тем более железную дорогу, – сказал, улыбаясь, мичман, – я думаю, у нас будут мощные ледокольные пароходы.

– Возможно, возможно, – кивнул Невельской. – Но до того времени пока еще далеко, а потому нам следует все силы приложить, чтобы найти для Отечества незамерзающие гавани.

Они пошли обратно к флагштоку, под которым на чурбачке уже сидел и рисовал в альбоме Андрей Любавин, а подпоручик Орлов, собрав вокруг себя казаков и прибывших на шлюпке матросов, что-то чертил прутиком на песке.

– Дмитрий Иванович, Андрей, – окликнул их Невельской, – прошу внимания. Андрей, завтра мы уходим к озеру Кизи, там уже все должно быть готово к основанию Мариинского военного поста. Поэтому рисовать можете лишь до вечера. Дмитрий Иванович, вы свое задание знаете, а здесь дайте людям необходимые советы, как строить казарму...

– Я этим и занимаюсь, – откликнулся Орлов, прервав речь начальника.

Невельской молча пропустил его слова и затем продолжил как ни в чем не бывало:

– ...выберите подходящее, хорошо защищенное место и не забудьте снабдить строителей инструментами и гвоздями.

– Все будет исполнено в точности, Геннадий Иванович, – отрапортовал подпоручик и, краснея, добавил: – Простите, что перебил. Увлёкся...

– Ладно, Дмитрий Иванович, здесь все свои, а вот при чужих – смотрите! – И даже пальцем погрозил капитан.

– Есть смотреть! – бодро и с явно лукавой интонацией ответил Орлов.

Все вокруг заулыбались, достоверно зная, что начальник экспедиции со своими товарищами никогда не держится субординации и ради дела стерпит любую вольность. А значит, нечего и волноваться.

– Геннадий Иванович, зачем я вам нужен в Кизи? – спросил Любавин. – Может, мне лучше пойти с Дмитрием Ивановичем к Сахалину? Я бы продолжил рисовать карту пролива. Вот и карту этого залива надо уточнить.

– С картой залива еще успеется, у Бошняка есть все промеры. А с проливом, пожалуй, вы правы. Полная карта нам очень даже пригодится, особенно с указанием всех течений и фарватеров. – Невельской улыбнулся в усы, глаза блеснули хитрецей. – Иностранцам показывать не будем, обойдутся. По крайней мере, пока. Потом, конечно, секреты открыть придется. Но

это – потом, когда Россия утвердится на этих берегах, и нам перестанут угрожать всякие там Англии, Франции да Америки.

– А Китай? – спросил Разградский. – Мы ведь все время оглядываемся на Китай.

– Это наше правительство оглядывается. И даже не правительство, а канцлер граф Несельроде боится. Сам же придумал какое-то мифическое китайское войско и сам же его боится. Впрочем, – помрачнел Геннадий Иванович, – может, сам и не боится, а государя пугает, чтобы не пустить Россию на эти берега – оставить их той же Англии.

Глава 5

1

– Что случилось – ты можешь, наконец, мне сказать?! – Отчаянный выкрик, даже вопль Ивана Васильевича не оставил бы, наверное, равнодушным самого заскорузлого человека. Двухгодовалый Васятка, игравший в своей кроватке, испуганно заплакал, однако Элиза даже не посмотрела в сторону сына, – стиснув зубы, с каменным лицом она собирала свои вещи, разбросанные по ее обыкновению в обеих выделенных ей с Ваграновым комнатах.

Элиза вообще никогда не отличалась стремлением к порядку: богемные привычки, впитанные ею вместе со звуками виолончели с подросткового возраста, ничуть не изменились за четыре года пребывания в Иркутске, хотя здесь у нее не было концертной костюмерши, которая прибирала бы ее туалеты. Иван, наоборот, с малых лет приученный отцом-охотником к тому, чтобы каждая вещь находилась на предназначенном ей месте – чтобы руку протянул и взял даже с закрытыми глазами, на охоте от этого может и сама жизнь зависеть, – поначалу пытался как-то воздействовать на возлюбленную, но быстро понял всю безнадежность этой затеи и махнул рукой.

Назревавшее в их отношениях охлаждение, которое Иван Васильевич воспринимал как тяжелую болезнь, после рождения сына, казалось, начало уходить. В Элизе проснулись материнские чувства: она сама кормила Васятку грудью, ласкала ребенка, гуляла с ним по аллее на берегу Ангары – в тележно-санной мастерской молодого купца-промышленника Чурина по заказу Вагранова сделали легкую детскую коляску для лета и кузовок на санках для зимы, – а перед сном пела французские колыбельные, и в глазах ее светилась нежность. Так, по крайней мере, казалось Ивану Васильевичу. Он еще раз просил Элизу перейти в православие и обвенчаться, но та категорически отказалась, ее даже не вдохновил рассказ Катрин о дочери наполеоновского офицера Жанетте Полине Гёбль, которая последовала в Сибирь за своим женихом декабристом Иваном Анненковым и обвенчалась с ним в Чите, приняв православие и став Прасковьей Егоровной.

– Полина очень любила своего Ивана, – наедине сказала Элиза подруге, – наверное, как и ты любишь Николая, а у меня, похоже, любовь прошла. – Глаза ее затуманились. – Хотя, признаюсь, в постели с Иваном было очень хорошо. Любовник он превосходный.

– Разве этого мало? – удивилась Катрин.

– Прежде было достаточно, а теперь... – Элиза покачала головой. – Я сказала: любовь прошла. А иногда думаю, была ли она вообще? Может быть, мне просто требовалось лекарство от одиночества.

– Я тебя понимаю, – призналась Катрин. – Когда я узнала, что Анри погиб, отчаяние просто захлестнуло меня, а рядом оказался Николай – нежный, внимательный, ничего не требующий. И меня потянуло к нему с такой силой, что я не могла противиться. Сама пришла к нему, и он не обманул мои ожидания. Во всем. Поэтому, когда Анри появился снова, мое сердце сделало выбор не в его пользу. Он это понял и, к счастью, исчез.

– Просто ты его разлюбила. У тебя – новая жизнь, до краев наполненная делами. Ты помогаешь мужу, у тебя есть свои дела в попечительском совете Сиропитательного дома, ты ищешь деньги для театральных спектаклей, принимаешь участие в заседаниях географического общества – да всего не перечислить. А я сижу дома, пиликаю на виолончели для своего удовольствия. Ужас!

– Теперь, когда ты родила Васятку, думаю, время для виолончели вряд ли останется. Если бы ты знала, как я тебе завидую!

– Чему завидуешь? Что в этом хорошего? – грустно усмехнулась Элиза. – Нет, я сына люблю, даже не ожидала, но... пеленки, горшки, болячки разные... А я ведь в Европе считалась известной, мои афиши собирали публику!

– Тебя никто в Сибирь не отправлял – сама поехала, – неожиданно резко сказала Катрин. И вдруг задумалась: – А спрашивается – зачем? Что ты здесь забыла?

Элиза испуганно – так на мгновение показалось Катрин – посмотрела на подругу и медленно, словно отвешивая каждое слово, ответила:

– Вот именно – не сама. Так пожелал мой меценат, тот, кто с тринадцати лет оплачивал мои занятия музыкой и вообще – всю мою жизнь.

– Кто он? И зачем это ему?

– Я не спрашивала. И вообще – какая разница, кто и зачем?! Платит – и хорошо!

– И за это ты с ним... спала?

– Ты не поверишь, – нервно рассмеялась Элиза. – Нет! Вернее, так: всего один раз, после моего первого концерта. Он поздравил меня с успехом, устроил шикарный ужин, а потом все получилось как-то само собой. Но он был очень недоволен, что оказался не первым моим мужчиной.

– А кто же был первым? – лукаво улыбнулась Катрин. – Или это секрет?

– Да никакого секрета! Первым был бывший студент Парижской консерватории по классу виолончели, еврей, на пять лет меня старше. Я у него училась началам игры. Сам играл как бог, я была без ума от его мастерства. Сейчас он – штатный композитор Комеди-Франсез, ты, может быть, слышала о нем – Жак Оффенбах.

Катрин покачала головой: нет, это имя было ей неизвестно.

– Бог с ним, с Оффенбахом, – сказала она. – Как в России говорят, снявши голову, по волосам не плачут. Твое решение окончательное? Ивану Васильевичу не на что надеяться?

– Очень хорошая русская пословица. – Красивое лицо Элизы словно закаменело. – Вот именно: снявши голову...

Вагранов, разумеется, ничего не знал об этом разговоре. О себе он уже не думал, для него тогда важнее всего было утвердить Васятку как законного сына. Гражданский брак, в котором он жил с Элизой, церковь не приветствовала, но особо и не препятствовала, если муж с женой были разного вероисповедания. А вот с новорожденными вне церковного брака детьми возникали сложности. Ребенок мог стать законным только через усыновление – это производилось по суду, а не по церковной записи. Однако Николай Николаевич лично попросил архиепископа Иркутского и Нерчинского Нила разрешить крещение с записью хотя бы отца – в порядке исключения. Архиепископ Нил, который уже пятнадцать лет возглавлял кафедру, был широко славен своей образованностью и миссионерской деятельностью среди народов Сибири, переводил на инородческие языки Священное Писание, строил церкви, призывал во служение в Сибирь способных священников. Мнение его в епархии было непререкаемо. Правда, лишь для священнослужителей – со светской властью после назначения генерал-губернатором Муравьева у преосвященного начались трения. И виноватым в том, в глазах архиерея, стал молодой чиновник Струве. Муравьев поручил Бернгарду Васильевичу вести дела с инородцами – чтобы не было им притеснения со стороны властей, не чинились бы какие несправедливости, – и тот столь усердно и толково повел дела от имени власти, что инородцы, буряты и тунгусы, на нового генерал-губернатора чуть ли не молились. Но еще более почитали они святителя Нила, потому что он, желая всех инородцев поголовно ввести в лоно Божьей церкви, обещал крестившимся любую помощь и защиту даже при нарушении ими порядка и закона. Новокрещенные этим охотно пользовались при каждом удобном случае, и Нил действительно применял все свое влияние для их защиты.

– Ваше высокопреосвященство, – не раз и не два пытался вразумить православного священнослужителя государственный чиновник-лютеранин, – вы таким образом поощряете правонарушения.

– Ну что вы, сын мой, – добродушно рокотал архиерей, – это мелкие проступки, а церковь должна быть милосердна.

– Но не за счет власти и закона! – негодовал Струве и в конце концов доложил о том генерал-губернатору.

Муравьев поддержал своего чиновника, и это обидело архиепископа. Между ними сложились прохладные отношения, что тяготило обоих, поэтому владыко в просьбе Муравьева увидел шаг к примирению.

Узнав от генерал-губернатора историю появления на свет сына штабс-капитана, архиепископ сказал, оглаживая роскошную седую бороду:

– Дитя не виновато, что зачато во грехе. Церковь всех примет в свое лоно. А поелику отец жаждет церковного восприятия чада, так тому и быти. Когда дитя народилось на свет Божий? Двадцать четвертого августа? Значит, в день святого Варфоломея. Вот и имя наречем ему – Варфоломей!

– Владыко, отец хочет назвать Василием, в честь своего отца.

– Василием? Можно и Василием: двадцать четвертое августа как раз день именин Василия.

С того времени прошло почти два года. Когда раненого Вагранова привезли из Маймачина, Элиза ухаживала за ним трепетно и ласково, поставила, можно сказать, на ноги, и он начал верить, что все уляжется и станет как прежде, и по ночам стремился возродить былую страстность, однако Элиза хоть и не отказывала в близости, но загоралась редко, чаще оставалась холодна, а ему казалось – презрительно-равнодушна; он терзался, винил во всем себя, свою рану, которая оставила шрам не только на голове, но и в душе, и оттого в самый необходимый момент вдруг терял уверенность, утопал в стыде и, отторгнутый недовольной его бессилием женщиной, остаток ночи проводил без сна на краю кровати, боясь лишний раз пошевелиться и потревожить ее.

Не раз во время таких ночных мучительных бдений Ивану Васильевичу хотелось разом все прекратить – взять и разрубить этот гордиев узел. Но пугался – а как же Васятка? – и загонял свои хотения в дальний угол души, мне, мол, уже сорок шесть лет, пора забыть о телесных радостях, нужно о сыне думать, как его вырастить... Однако ложился в постель, и перед внутренним взором сами собой всплывали картины нежных встреч с Элизой, и рука тянулась приласкать ее, позвать на свидание – он слишком хорошо помнил, как ее тело мгновенно откликалось на эти прикосновения, но теперь пальцы натыкались на холодные складки крепко подоткнутого одеяла, и не было никакого движения в ответ.

Так все и тянулось до августовского дня, когда пришло письмо из Франции от Екатерины Николаевны. Они только отобедали, Вагранов собирался на службу, и тут Флегонт принес почту. Элиза радостно схватила запечатанный сургучом конверт, вскрыла его, пробежала глазами первые строчки на листке голубоватой бумаги и вдруг побледнела, пошатнулась и схватилась рукой за горло, как будто его пронзила острая боль.

– Что такое?! Что случилось?! – бросился к ней Иван Васильевич, но Элиза взглянула на него стеклянным взглядом, повела рукой, как бы отодвигая мужа в сторону (он и в самом деле отодвинулся), и ушла в спальню, захлопнув за собой дверь.

Вагранов даже не попытался последовать за ней. Постоял в полной растерянности перед закрытой дверью, потом спохватился, что должен спешить в Управление, где председатель Совета иркутский губернатор Карл Карлович Венцель назначил совещание по исполнению полученных от генерал-губернатора инструкций. Иван Васильевич позвал горничную Лизу,

чтобы передать ей Васятку, и ушел – в надежде, что к вечеру Элиза успокоится, и все станет ясно.

Венцель любил собирать чиновников Главного управления по самым разным поводам, и увильнуть от этих заседаний не было никакой возможности. Приходилось сидеть и слушать обстоятельные, хотя чаще всего неконкретные речи генерал-майора. Да и слушать-то его, можно сказать, почти не слушали, тем более что Карл Карлович, оправдывая свое происхождение, пересыпал русскую речь немецкими словечками, которые далеко не все понимали. Причина такой привязанности начальника к общим собраниям была, в общем-то, для всех очевидна. Красавец даже в свои пятьдесят шесть и добрейшей души человек, он за четыре десятка лет дослужился всего лишь до младшего генерала и глубоко от этого страдал. Поэтому, регулярно оставаясь в отсутствие Муравьева исправляющим дела главноначальствующего края, он чувствовал себя на заседаниях куда более значительной личностью. Это ли не повод остроумно посудачить о начальнике, чем во все времена отличались подчиненные, будь то люди служивые или чиновные, однако о Венцеле никто не слышал дурного слова. Более того, его, как ни странно, любили все, начиная от генерал-губернатора, снисходительно относившегося к слабости своего заместителя (несмотря на пристрастие к заседательству, Карл Карлович был весьма ответственным исполнителем, а Муравьев это в подчиненных ценил), и кончая чиновниками самого низшего, XIV, класса, коим, проходя, генерал поощрительно улыбался. Что ни говорите, а доброту души замечают и коллежские регистраторы.

Вагранов к генералу Венцелю относился со всем уважением и на его заседаниях сидел примерным учеником гимназии, но сегодня он был как на иголках. Тем более что инструкции, присланные Николаем Николаевичем на этот раз, его непосредственной деятельности не касались: после истории с Кивдинским и Остином в Май-мачине, после попытки Хилла вновь зацепиться в Иркутске и, наконец, после пожара на Шилкинском заводе Вагранов с молодым Волконским следил за безопасностью подготовки к долгожданному сплаву, который ожидался уже весной будущего года. Черт бы побрал этого милейшего Карла Карловича, думал он, развел турысы на колесах. Впрочем, можно отвлечься и подумать о том, что же произошло.

А произошло явно нечто из ряда вон выходящее.

О чем могло быть сказано в письме Екатерины Николаевны? Может быть, что-то о родственниках Элизы? Вряд ли – она о них никогда не вспоминала, словно их не было и нет. Значит, тут что-то другое, и это «что-то» ее то ли напугало, то ли сильно расстроило. Судя по тому, как Элиза ушла в спальню, полученное известие ее просто ошеломило, ничего подобного она от подруги не ожидала. А что могло ее ошеломить? Самое вероятное, открытие какого-то секрета, тайны, которую она тщательно скрывала даже от очень близкого человека, каким для нее стала Екатерина Николаевна. Но тайна эта, видно, привела в замешательство и саму Муравьеву, коль скоро она не стала дожидаться возвращения в Иркутск, чтобы переговорить с наперсницей с глазу на глаз, а поспешила отправить письмо прямо из Франции – Иван успел заметить штемпель на конверте. Что же заставило ее так спешить? Стоп! А может быть, письмо означает, что Екатерина Николаевна вовсе и не желает личной встречи? Но это возможно лишь в том случае, если ей неприятно видеть свою, вполне вероятно, теперь уже бывшую подругу, если ей не хочется слышать ее ложь или жалкие оправдания. Да-а! Пожалуй, это наиболее правдоподобно.

Вагранов даже улыбнулся, довольный своими размышлениями, и тут же снова поник, осознав, что эти умозаключения невольно оказались направленными против его Элизы. Да вот его ли? Похоже, знак вопроса становится все больше и больше.

Он вздохнул, искоса оглядывая сидящих рядом чиновников – заметил ли кто-нибудь его отвлеченное состояние? Он не боялся, что его сдадут, – если кто и способен на такую мелкую пакость, так только управляющий делами Синюков (и чего это Николай Николаевич его до

сих пор не выгнал?), но Антон Аристархович со всем вниманием слушал доклад Струве о ревизии Карийских золотых промыслов. Нет, он просто не хотел, чтобы кто-нибудь заметил его излишнюю взволнованность.

Вагранов тоже немного послушал Бернгарда Васильевича. История с исчезновением паровой машины, так и оставшаяся неразгаданной, невольно заостряла его внимание, когда речь заходила о золотых приисках.

В целом о событиях на Каре он знал.

Горный инженер Иван Разгильдеев одним из первых подсутился по прибытии Муравьева на пост генерал-губернатора и пообещал новому начальнику края добыть на реке Каре в ближайшее лето 100 пудов золота, если будет заведовать золотодобычей во всем Нерчинском округе. Муравьев поверил и назначил его на этот пост с прямым подчинением самому себе. Разгильдеев устроил на Каре настоящую каторгу, поначалу добыл всего 60 пудов, но в следующее лето уже 95, и в 1852 году был назначен горным начальником Нерчинских заводов. На следующий год Иван Евграфович обещал уже 120 пудов, и дело к этому шло, но тут словно прорвало плотину – потоком пошли жалобы на жестокие условия жизни рабочих на промыслах, на палочную дисциплину, скверное питание, рост смертности из-за болезней и числа побегов... Генерал-губернатор не мог оставить эти злоупотребления без внимания и назначил ревизию. Вот о результатах ревизии Струве и докладывал.

Среди всей команды Муравьева этот молодой (всего-то 26 лет!) чиновник отличался исключительной принципиальностью и честностью, что, между прочим, нравилось далеко не каждому и в ближнем муравьевском окружении. Вагранов относился к нему с большой симпатией, и сейчас не сомневался, что выводы Бернгард Васильевич сделает самые суровые, а потому снова погрузился в свои невеселые размышления.

Если он прав в отношении содержания письма, то, во-первых, что это за секрет, раскрытие которого так потрясло Элизу, а во-вторых, как она теперь поступит?

Екатерина Николаевна не хочет разговаривать с Элизой – из-за чего? Из-за обмана? Предательства? Попытки отнять мужа? Ну последнее можно сразу исключить. Конечно, он не знаток женских характеров, но был абсолютно уверен, что у Элизы таких поползновений не было. Он бы сразу это если не увидел, то почувствовал. Да и Николай Николаевич так влюблен в свою Катрин, что все остальные женщины для него как бы вообще не существуют.

Обман и предательство ходят рядом, можно сказать, под ручку. Что из них одна женщина никогда не простит другой? Скорее всего, предательство. Так же, как и мужчина. Предать Элиза могла, открыв кому-то (интересно, кому?) то, что ей доверили как близкому человеку – а доверить что-либо ей могла лишь Екатерина Николаевна, и о предательстве этом она узнала во Франции.

От кого? От мужа? Вряд ли он стал бы молчать до заграницы. От своих родителей? Это возможно, однако лишь в том случае, если письмо от Элизы с компрометирующим Катрин известием ненамного опередило приезд дочери. И потом, вряд ли родители стали бы скрывать от дочери, от кого получено письмо. Да и само раскрытие тайны прямо указывало бы на предательницу. Но, глядя на Элизу, можно с уверенностью сказать, что она разоблачения не ожидала.

Значит, известие от нее получил тот, кто интересовался секретами семьи Муравьева и полученные сведения должен был хранить, но по какой-то причине они выплыли наружу. А ведь есть такие секреты, владея которыми, можно человеком вертеть, как игрушкой!

Так что же из всего этого следует? А следует то, что тайны, оказывается, уже две – у Екатерины Николаевны и у Элизы. У каждой – своя. Но обе, возможно, угрожают благополучию семьи Николая Николаевича. А может быть, не только семьи и не только благополучию?!

Он должен узнать это, и узнать немедленно!

Не ища ответа на вопрос «во-вторых», Вагранов вскочил и бросился вон из кабинета Венцеля.

Струве замер на полуслове, не веря своим глазам. Да и никто из присутствующих не поверил, а у Карла Карловича просто отпала нижняя челюсть. Он хотел что-то сказать, протянул руку вслед убегающему офицеру, но тот уже исчез за дверью.

А дома Иван Васильевич застал жену, собирающую вещи.

– Что ты делаешь, Лиза? – стараясь быть спокойным, спросил он.

– Завтра я уезжаю во Францию, – бесстрастно сообщила она. – Сегодня время еще есть, ты подготовь мне подорожную и паспорт. Васятку, так и быть, оставляю тебе – он же записан твоим сыном.

«Вот и во-вторых», – как-то отстраненно и даже вяло подумал он. А что ей остается делать, если встреча с Екатериной Николаевной не сулит ничего хорошего? «Нет, – возникла и разгорелась мысль, – все-таки надо, надо, надо, непременно надо узнать, что произошло...» Он открыл рот, чтобы по возможности спокойно спросить, и вдруг сорвался. В душе взвихрилось осознание: да ведь Элиза *уезжает!* Взорвалась и рассыпалась пылью жизнь: Элиза, его любимая Элиза уезжает *навсегда!* И глыбой упало – *почему?!* Неужели ничего нельзя *исправить?!* Сердце пронзило острой иглой.

И вот тогда он отчаянно закричал.

2

Вогул сам не знал, почему, а главное – зачем приехал в Иркутск.

После встречи со Степаном и тяжелого, но облегчившего его душу разговора он твердо решил обезопасить жизнь Гриньки, которого считал названным младшим братом, и его дочки Арины. А обезопасить их можно было только одним путем – разгромив гнездо Кивдинского-Остина. Но вот удастся ли ему самому выйти из этой переделки живым и невредимым – ба-а-альшой вопрос. Хилок погиб – и поделом ему, однако у Кивдинского телохранителей хватает и без этого медведя, а какая сила есть у Остина – вообще неизвестно, Ричард ни разу не выставлял ее напоказ. Но то, что она у него имелась, у Вогула не вызывало сомнения.

Этот англичанин вообще-то был для него загадкой. Разведчик? Да, конечно. Причем разведчик, похоже, высокого ранга – вон как ловко поддельывается под китайца: говорит по-китайски и по-маньчжурски (Вогул сам видел и слышал, как Остин общается с местными жителями и служащими), одевается как китайский торговец, черные волосы заплетает в косу... Глаза, правда, не узкие, но Кивдинский говорил, что китайцы – всякие, есть и такие, что вполне похожи на европейцев. Но вот за каким лешим английского разведчика занесло в Маймачин – Григорий не понимал. Ведь здесь кроме традиционной торговли ничего и нет. Однако англичане, как ему втолковывал Анри Дюбуа, ничего просто так не делают, у них всегда есть свой особый интерес, свой прицел. Вот Остин каким-то образом втерся в доверие к кяхтинскому градоначальнику и стал его агентом – значит, получает от этого какую-то выгоду. И посланников Муравьева он сдал Кивдинскому совсем не случайно, а наверняка с определенной целью. Только с какой – непонятно.

Понятно одно: в этой компании шансов сломать себе шею вполне достаточно. Но, честно говоря, умирать в тридцать четыре года ему совсем не хотелось. Наоборот, появилась охота обзавестись наконец домом, большой семьей – видно, потому он и к Гриньке привязался, – но лишь один Господь Всезнающий ведает, получится ли с этим что-либо путное. Понятно же, для семьи первым делом баба нужна, да не просто баба – женщина любимая и любящая, чтобы дети зачинались в нежности, а рождались в радости, были дорогими и желанными. А Вогул и само-то слово «женщина» впервые узнал в Иностранном легионе, от лейтенанта Анри Дюбуа,

который рассказывал о своей возлюбленной возвышенно, с восторженным блеском в глазах, прерывающимся от волнения голосом.

И где такую женщину взять? Да нет, не взять – найти. За все годы скитаний только одна и встретила – там, на волжском берегу, – к которой после недолгого разговора его вдруг потянуло с непреодолимой силой, и в жар бросило, и сердце дало перебои, и захотелось выдать что-нибудь особенное... Он и выдал. Голову обнесло, и не помнил уже, почему вздумал взять ее, как брал других, именно «взять», не дожидаясь, пока у нее возникнет к нему хоть маломальское чувство – ну что-нибудь вроде симпатии. Впрочем, симпатия-то у нее народилась, он это почуял, когда рассказывал о своих мытарствах в плену, точно почуял, по-звериному, а дальше... А дальше и пошло по-звериному. Почему так – кто ж знает. Может, потому что с детства деревенского в башку втемяшено: хочет баба, не хочет, а как мужик силу покажет, она вся – его, и бери ее по-простецки. Да вот не вышло по-простецки, а тут еще офицерик этот откуда ни возьмись вздумал рыцарем показаться... Ну а про иркутскую историю и говорить нечего – правильно она его ножичком пырнула. Потому что она – женщина, а он как был зверем, так зверюгой и остался. Вот она и защищалась.

Ладно, проехали. А сейчас-то чего ты в стольный град Иркутск приперся, мил-человек? Чего-чего... Может, увидеть ее напоследок.

Вогул и увидел. На берегу Ангары, неподалеку от муравьевского дома. Там берег весь зарос кустарником, а ближе к проезжей части проложена аллея – по обе стороны утрамбованной и посыпанной песком дорожки рядами стоят стройные березы и разлапистые пихты. Вечерами по аллее прогуливаются живущие поблизости горожане с женами – чиновники, военные, купцы, а днем дорожку занимают немногочисленные мамы и няни с детьми.

Элиза – имя ее он запомнил сразу и навсегда – три раза в день катала здесь на коляске маленького мальчика. Иногда мальчуган передвигался на своих ножках. Держась за коляску, он звонко смеялся, оглядываясь на мать, которая шла за ним напряженная, готовая чуть что прийти на помощь.

Вогул по приезде в Иркутск остановился на постоялом дворе мещанина Закатина, что находился на Благовещенской улице, неподалеку от пятиярусной краснокаменной церкви. Церковь – это так, к слову; Григорий никогда в них не заходил, считая, что для общения с Богом посредники не нужны, хотя красоты их внешней не чурался, а Благовещенская была истинной красавицей – стройная и нарядная, она ненавязчиво радовала глаз и сердце. А выбрал Вогул этот двор из имеющихся в Иркутске четырнадцати, потому как место удобное – рядом с центром города, для его тощего *porte-monnaie*²³ недорого, и конюшня для конька верхового имеется. Он мог заехать к Кивдинским – Антонина наверняка была бы счастлива приветить милого дружка, но, во-первых, Григорий встречаться с ней не хотел, а во-вторых, считал, что это не по-людски – жить, хоть и временно, в доме человека, которого, возможно, скоро сам же и порешишь.

Переодевшись в номере, чтобы выглядеть приличным горожанином, он направился к Большой улице. Хотел было дойти до Ангары пешком, но передумал: путь неблизкий, двенадцать кварталов, если считать по левой стороне, или шесть (но больших!) – по правой, в общем, верста с гаком по пыльной дороге, – пока дойдет, вид у него будет самый что ни на есть бродяжий. Поэтому Григорий кликнул извозчика, сел в пролетку и покатил, особо не торопясь, к Белому, как его называли иркутяне, дому, резиденции генерал-губернатора. Предполагал, что встретить Элизу проще всего именно там, возле дворца Муравьева. За себя Григорий не боялся: тех, кто знал его в лицо в этом городе, можно было пересчитать по пальцам на одной руке, и никто из них не представлял для него серьезной опасности. Если кто-то и увидит промелькнувшее в пролетке чернобородое лицо под лакированным козырьком светлого картуза,

²³ *Porte-monnaie* – кошелек (фр.).

наверняка какое-то время будет мучительно рыться в памяти, почему оно показалось знакомым, и не факт, что вспомнит.

Местных урок Григорий в расчет не брал. Гуран погиб, Хрипатый куда-то исчез, а остальные его, можно сказать, почти и не знали. После возвращения с охоты на генерал-губернатора у него мелькнула мысль использовать их в своих целях, но люди были ненадежные, и он не стал с ними связываться.

В таких необременительных размышлениях Вогул проехал несколько улиц: с левой стороны шесть Солдатских и Заморскую, с правой – Тихвинскую и Морскую, до Набережной и Белого дома оставалось два квартала, как вдруг его до основания потрясла, можно сказать, до пота прошибла простая мысль, которая почему-то сразу не пришла ему в голову: а что он скажет, если лицом к лицу столкнется с Элизой, и она его узнает? Ведь последнее, что было между ними, – это его попытка насилия и ее попытка убийства, такие вещи со счетов не списываются даже по истечении многих лет, а тут и за годы не спрячешься – прошло-то всего ничего.

Поэтому Григорий велел извозчику свернуть на Луговую и выехать к Набережной по Харлампиевской. Оттуда до Белого дома всего-то три квартала вдоль Ангары, где по заросшему деревьями и кустарниками берегу проложено множество тропинок, что позволяло скрытно пройти до прогулочной аллеи. Он довольно быстро дошел и – надо же такому случиться! – нос к носу столкнулся с катившей коляску Элизой. Как раз в этот момент она разворачивалась, чтобы идти в обратную сторону. Внимание ее было поглощено ребенком, поэтому она даже не взглянула на вынырнувшего из кустов мужчину, который остановился в полной растерянности и молча глядел ей вслед.

Вогул потоптался, не зная, что предпринять, и... пошел обратно. Никогда еще он не чувствовал себя столь неуверенно. К месту, нет ли, вспомнился случай из службы в Иностранном легионе. В одном из боев с мятежниками Абд аль-Кадира Григорий оказался один против четырех вооруженных саблями берберов. Он вертелся как черт, орудуя карабином с примкнутым штыком, и успевал не только останавливать разящие молнии клинков, но и наносить ответные удары, которые почти все достигали цели, потому что нападавшие были уверены в своем превосходстве и невольно допускали промахи. Легионер уложил всех; совершенно измотанный, он тут же скинул свой огромный походный *havresac*²⁴ и обнаружил, что тот разрублен в нескольких местах. Вогул всегда ругался по поводу его тяжести, а вот надо же – ранец спас своего хозяина от смерти. Но самое главное, что вспомнилось бывшему легионеру, – во время схватки он каждую секунду был уверен, что победит. Более того, он всем нутром чувствовал, что даже мгновенное сомнение в своей победе тотчас лишило бы его воли к сопротивлению, а это все равно как вышибло бы из рук оружие.

Кстати, именно за этот бой Григорий Вогул и получил сержантские лычки.

Впоследствии он всегда поддерживал в себе уверенность в своей правоте, в своей силе, в своей победе.

И только однажды беспардонно и насильно был ее лишен по самодурству тульского губернатора Муравьева, что и послужило причиной непреходящей к нему ненависти бывшего легионера. Комбатанта, – вспомнил, как назвала его при знакомстве Элиза.

Эх, Элиза, Лизавета, я люблю тебя за это... Люблю?! Ну как посмотреть... Заноза ты в душе, а почему, отчего – тревожно и непонятно, и, видать, непонятность эта тянет, как железо магнитом. Вот снасильничал бы тогда, и дело с концом, все бы оборвалось, ан нет – получил перо в бок, еле выжил, а заноза не только осталась, но еще как бы и выросла.

Два дня приходил Вогул на берег и, скрываясь в кустах, наблюдал за прогулками Элизы. Трижды в день, примерно в одно и то же время, она выкатывала из калитки в воротах Белого

²⁴ *Havresac* – солдатский ранец (*фр.*).

дома коляску с малышом и часа два мерила аллею из конца в конец. Оба раза на вечернюю прогулку приходил высокий офицер, в котором Григорий сразу же признал того самого поручика, с которым сцепился на Волге, – теперь он стал штабс-капитаном. Припомнилось, что был он возле Муравьева и в Туле, и у Ленских Столбов, и на Охотском тракте – видать, близкий генералу человек. А по тому, как вился вокруг Элизы и сюсюкал с мальчуганом, ясно – к гадалке не ходи, – кем он им приходится.

Только вот закавыка: он-то вьется, а Элиза не отвечает, смотрит вперед с отстраненным лицом, словно она не здесь, на летней аллее над Ангарой, а где-то далеко-далеко. Может, в своей Франции, может, еще дальше. А мужа будто бы рядом вовсе и нет.

Вогул крайне удивился – не самому этому открытию, но тому, что оно его неожиданно взволновало. Он последнее время стал замечать за собой прежде вообще не испытываемые чувства – как, например, умиление при мысли о маленькой Гринькиной дочке или угрызения совести из-за того, что едва не угробил самого Гриньку. За сожженный пароход совесть его не трогала, как и за покушения на Муравьева – это были звенья одной и очень прочной цепочки, сковавшей его с генералом. Правда, генерал о ней не подозревал, но какое это имело значение! Вот с Элизой – дело другое. Между ними тоже протянулась связь – нить ли, цепочка или целый канат, – о которой тоже знал только Григорий, но, заметив отчуждение между Элизой и ее мужем, он отчетливо осознал, что у него появился шанс попытаться хотя бы получить ее прощение. А дальше – куда фортуна повернет свое колесо.

Вогул решил: была не была, завтра он поговорит с ней. Во время послеобеденной прогулки. Утром он не пошел на свое потайное место, откуда вел наблюдение, поэтому не знал, что с малышом гуляла не Элиза, а горничная. Впрочем, какое это имело бы значение? Мать могла быть занята чем-то важным (она и была занята полученным утром письмом Екатерины Николаевны) или почувствовать недомогание – в общем, ее отсутствие вряд ли бы вызвало тревогу. А вот опоздание с послеобеденной прогулкой – на целых полтора часа! – заставило Вогула внутренне напрячься и насторожиться. Как дикий зверь чует запах железа от капкана, так Григорий почуял неладное в столь большом опоздании, а когда Элиза все-таки появилась на аллее, катя перед собой коляску, ощущение неладности и даже опасности происходящего резко усилилось: в страдальчески застывшем лице женщины не было ни кровинки.

И еще – из коляски слышался непрерывный детский плач, со всхлипами и тонким подвыванием, но мать это как будто не трогало. Можно было подумать, что она и не слышит своего ребенка.

Вогул решительно проломился сквозь кусты и вышел на дорожку навстречу коляске. Его появление было столь неожиданно, что вывело Элизу из ее сомнамбулического состояния. Она остановилась, взглядываясь в подходившего мужчину, и, видимо, стала узнавать, потому что выражение лица ее изменилось, в нем появилось что-то беспомощное. Она оглянулась, словно ища защиты, и Вогул увидел в начале аллеи, там, откуда она пришла, спешащую к ним высокую мужскую фигуру.

Не успею, ни слова не успею сказать, подумал Григорий, так все нескладно получается! Он поднял руку, успокаивая испуганную женщину, и... его оглушил раздавшийся совсем рядом ружейный выстрел.

Элизу отбросило спиной к стволу росшей позади березы, на лифе светлого летнего платья мгновенно расцвела ярко-красная кровавая роза, тело женщины нелепо изогнулось и упало боком на край дорожки.

Что это?! Как?! Почему?! Кто стрелял?! Вогул замер, не зная, что делать. И только легионерская выучка, привычка принимать быстрые решения в самых невероятных условиях, заставила его мгновенно просчитать ситуацию. Помочь Элизе невозможно: если она еще жива, то ненадолго, к тому же к ней бежит муж. Кто стрелял, неизвестно, а он, Вогул, оказался на месте убийства, и этот самый муж наверняка вспомнит случай на берегу Волги; кроме того, он может

знать про попытку насилия и удар ножом, так что вот она, месть! А это значит – каторга, а то и виселица...

Вогул еще не закончил обдумывание, а ноги уже уносили его сквозь кусты: скорей, скорей, на постоялый двор и – прочь из города! Сбитый веткой, потерялся картуз, один острый сучок едва не выколол глаз, а другой зацепился за штанину и проделал в ней дыру. В довершение всего уже напротив Юнкерского переулка он споткнулся о какую-то кучу и едва не полетел кубарем. Выправился и уже шагнул дальше, как вдруг «куча» взвыла:

– Гришенька-а-а!

Он оглянулся. Никакая это была не куча – на земле сидела Антошка, Антонина Кивдинская, размазывая слезы по грязному лицу.

– Ты чего тут забыла, шалава?!

– Ногу подвернула-а-а...

Догадка бритвой резанула по сердцу.

– А ружье куда девала?!

В глазах Антонины плеснулся ужас, но губы уже произносили словно сами по себе:

– Выбросила...

– Ну и сука же ты!

Мысли Вогула заметались – что делать? Бросить эту курву – пусть полиция разбирается, что, как и почему она натворила, – она же расколется! Сама на каторгу пойдет, и ему могут пришить соучастие. Элизу уже не вернешь, а эта дурища от ревности совсем спятила. Любовь называется!

И убежать уже поздно: каждый встречный с радостью покажет полиции, куда убивцы побежали. Надо затаиться!

Григорий подхватил девку под мышки и потащил к берегу – неподалеку были мостки, с которых жители брали воду в реке, на них можно умыться и быстренько привести себя в порядок. Разул там подвернутую ногу, велел подержать в воде; намочил свой карманный платок, обтер Антохе лицо. Услышав рассыпавшиеся невдалеке полицейские свистки, сказал негромко:

– Волосы приberi, растрепа, и ногой побалтывай. Мы тут гуляли и присели отдохнуть.

Антонина послушно убрала пряди под платок, забулькала опущенной в воду ногой.

Григорий снял свой черный суконный казакин, оставшись в подпоясанной наборным ремешком рубаше, расстелил его на траве и уселся, расставив ноги в юфтевых сапогах.

– Бегчи надоть, – негромко сказала Антонина. – Заарестуют.

– Сиди и молчи. Иль напевай чего-нибудь.

Антошка уже поняла, что Вогул ее выдавать не собирается, и послушно что-то замурлыкала, а Григорий лег на спину, глядя на облака в ярко-синем небе и покусывая сорванную травинку. Вроде бы весь из себя спокойный, а сердце в груди трепыхалось пойманной синичкой.

Свистки приблизились, тяжело затопали сапоги. Совсем неподалеку – по дорожке в кустах.

– Э-эй, мужик!

Григорий приподнялся на локтях, повернул голову: из кустов высунулись две головы – полицейские.

– Чаво?

– Тут никто щас не пробегал?

– Ктой-то топотал, а кто – Бог ведат. Антоха, ты видала?

– Не-а, – отозвалась девка и оправила рюши платья на высокой груди. Зыркнула хитрым глазом на полицейских и опустила голову – засмушалась. – Мы ж с тобой милешились.

Григорий рукой и миной на лице изобразил для полицейских что-то вроде «ничем не могу помочь». Головы переглянулись, хмыкнули и исчезли.

Вогул проводил их взглядом и снова улегся на спину.

Антонина еще немного побулькотила, потом обсушила ногу подолом платья, обулась, хромяя, поднялась к Вогулу на пригорок и уселась рядом.

– Ты следила за мной? – спросил Григорий, не глядя на нее. У него внутри все кипело, но, как ни странно, боли не было: ярость не жгла, не обугливала его сердце, а, казалось, выжигала все темное и тяжелое, что успело накопиться в душе за последние годы и что так или иначе связывало его с Элизой. И – совсем уж удивительно – он даже чувствовал облегчение, словно ее смерть стала некой искупительной жертвой. Видимо, поэтому ему и не хотелось как-то наказывать Антонину. Да и кто он такой, чтобы оправдывать или наказывать? Ежели есть за что, Бог накажет! – Ну что молчишь?

Антонина вздохнула:

– Следила. Как ты на энту стерву пялился – да рази ж можно стерпеть?

– Давно следила?

– А те не все равно? – Антонина вдруг хихикнула. – И ей, стерве, таперича все равно!

Григорий закрыл глаза. Что ж, Антоха по-своему права. Когда его углядела в городе, сколько подсматривала – какая, в общем-то, разница?! Будучи в постели с ним, грозилась, что любую соперницу убьет, – вот и убила. Он тогда еще понял, что девка не шутит, но не придавал ее словам особого значения, а вышло – зря не придавал! И ведь не докажешь, что ничего такого у него с Элизой не было.

– Ты – дура! Такой грех на душу взяла – за ради чего?! – Антонина молчала, понуриив голову. – Ты ж меня подставила! Муж ее считает, что это я убил, и полиция меня ищет!

– С чаво тебя-то?

– Я был рядом, а он меня знает. И картуз я, убегая, обронил, а там, внутри, имя мое.

– Настоящее?! – ахнула Антонина.

– А мужу-то и полиции какая разница, Вогул я или Герасим Устюжанин. – Григорий открыл глаза и увидел над собой удивленное лицо девушки. – Ну так в паспорте, который мне Машаровы справили. Я по нему на постоялом дворе записан, там и найдут.

– Не найдут, – твердо сказала Антонина. – В нашем схроне пересидишь.

3

Элизу похоронили на католическом участке Иерусалимского кладбища. Хотя о погребении специально не объявляли, проводить французскую виолончелистку пришли многие почитатели ее таланта: все бывшие в городе декабристы со своими семьями, ссыльные петрашевцы, армейские и казачьи офицеры, чиновники, учителя и учащиеся гимназии и Девичьего института, именитые купцы и промышленники, да и просто любопытные.

У могилы несколько прочувствованных слов сказал генерал Венцель, какие-то витиеватые стихи прочитал длинноволосый директор драматического театра Маркевич. (Бывший бродячий актер и владелец балагана уже три года возглавлял драматическую труппу, для которой по указанию генерал-губернатора на Большой улице, между Троицкой и Заморской, построили деревянный храм искусств. Он очень гордился своим «высоким предназначением» и выступал по любому случаю с виршами собственного сочинения.) После Маркевича говорили еще – кто и что, Вагранов не вслушивался. Он был рад тому, что его никто не выдергивал из рядов столпившихся вокруг гроба – или забыли, или просто не знали, что он был мужем покойной.

И когда расходились, к нему никто не подошел со словами сочувствия.

Иван Васильевич раздал милостыню нищим на паперти Входаиерусалимской церкви, подошел к довольно крутому спуску на Подгорную улицу и окинул взглядом панораму Иркутска. Отсюда, с Иерусалимской горы, город был виден до самой Ангары, подковой огибающей его от Казарминской улицы до устья Ушаковки, за которой виднелись белые стены Знаменского

монастыря. За четыре прожитых здесь года Иван Васильевич полюбил эту некоронованную столицу огромного края – ее немногочисленные белокаменные дома-дворцы купцов-миллионщиков, грузно застывшие, словно киты, неведомо как попавшие в редкочастую сеть улиц и переулков, сотканную из рядов деревянных изб, искусно изукрашенных резными наличниками окон и карнизами, ее шумные многолюдные базары – Хлебный, Мелочный, Рыбный, ее красавицы-храмы – отсюда, с горной высоты, их почти десяток открывался глазам – от Крестовоздвиженской церкви с левой стороны до Спасо-Преображенской и Успенской с правой. Сейчас, после похорон, их кресты, сияющие над куполами и маковками в лучах полуденного солнца, казались Вагранову особенно притягательными, хотелось молиться во спасение души безвременно усопшей, что из того, что она была католичкой, – Бог-то все равно один, захочет – услышит.

Вагранов перекрестился на все церкви, не пропустив ни одной, на Спасо-Преображенскую даже дважды – это была домашняя церковь Волконских, и он в нее заходил неоднократно – и с Муравьевым, и с Михаилом Сергеевичем. Вот в Успенской, которую часто называли Казачьей (городовые казаки считали ее своей – и казарма была рядом, и улица Казачья), побывал только однажды – на отпевании Семена Черныха.

Нежданно-негаданно перед глазами всплыло лицо Насти, невесты Семеновой, и таким оно показалось милым, что защемило сердце. Подумалось: надо будет узнать у Аникея, как там жизнь складывается у девушки – здорова ли и кого родила. Вспомнились и поминки в доме Черныхов – как там ему, штабс-капитану Вагранову, было тепло среди простых казаков, и все собравшиеся казались родными и близкими. Вряд ли случайно – хоть и офицер он теперь, хоть и дворянин записной, а мужичья кровь к своим тянется, и ничем это не перешибить. Элиза тоже была не из дворянок, однако Европа ее вышколила, а она, Европа, значит, на русских всегда смотрела свысока. Вот и прожил он с musicienne четыре с лишком года, любились, или, как здесь говорят, милешились, до потери сознания, но так и не сыгрались. Он это чувствовал постоянно, винил себя, винил судьбу, угнетался, но отрешиться от ощущения мезальянса не мог. И даже увлечения контрразведкой, когда ему показалось, что он достигает уровня Элизы, хватило лишь ненадолго. Впрочем, вместе с неудачной вылазкой в Май-мачин как-то сами собой завершились и его с Мишей Волконским контрразведывательные действия.

До поминок, которые намечались для узкого круга в Белом доме, времени было еще много, и Вагранов решил пройтись пешком, благо Васятку по малолетству на похороны не взяли. Захотелось проветриться, тем более что третий день у него сильно болела голова, с той самой минуты, когда, пробежав аллею, он увидел лежавшую навзничь на краю дорожки окровавленную жену и выглядывающую из коляски перепуганную мордашку сына, который повторял жалобным голосом: «Мама... мама... мама...». Череп Ивана тогда словно раскололся в тех местах, куда вошла и откуда вышла маймачинская пуля. Его крепко шатнуло от нестерпимой боли: сквозь заставшую глаза пелену он разглядел, что вся грудь жены порвана крупной дробью. Сразу стало понятно: стреляли из охотничьего ружья, с небольшого расстояния.

Но – кто и зачем?

А может быть – почему?

Совершенно безобидная виолончелистка, которая и по городу-то ходила всего несколько раз, кому она могла столь навредить, что ее решили убить? Единственная зацепка – мужчина, вышедший из кустов навстречу Элизе. Кто это, Вагранов разглядеть издалека не смог, хотя фигура показалась смутно знакомой. И потом, в руках у него не было ружья, а выстрел раздался уже после его появления. Полицейские, которые дежурили у дома генерал-губернатора, прибежав на звук выстрела, нашли в кустах, причем в разных местах, ружье и картуз, на клеенчатой подкладке которого значилось имя владельца – Герасим Устюжанин, написанное черными чернилами. Вагранов такого человека не знал, к тому же не мог поручиться, что картуз вообще имеет отношение к убийству Правда, позже припомнил, что мужчина был в картузе.

Полицейские же, бросившиеся в погоню за ним, утверждали, что наткнулись лишь на любовную пару: чернобородый молодой мужик лежал на траве, а девка в платке сидела на мостках и бултыхала ногами в воде.

– Почему вы решили, что пара любовная? – спросил Иван Васильевич.

– Дак вид у них был такой, – смутился один из полицейских, молодой парень с редкими светлыми усиками, – вроде как оне токо што... этим самым занимались...

– Днем и прямо на берегу? – не поверил Вагранов. – С чего ты взял?

– Дак обое взбулгаченные, рожи красные, волосья растрепанные...

– А там место такое... укромное... – пояснил второй полицейский. – В этих кустах на берегу, ваше благородие, чего только не бывает. Не у всех же дома условия есть.

Судя по правильной речи, этот полицейский – он был старше первого – успел поучиться в гимназии. Выгнали за что-нибудь, иначе был бы чином повыше, рассеянно подумал Вагранов. Он тогда очень устал и чувствовал себя просто раздавленным случившимся, поэтому махнул рукой и отпустил полицейских. А сейчас, неторопливо шагая по пыльной Казарминской улице в сторону Ангары, вернулся мыслями к той любовной паре.

«Взбулгаченные... рожи красные... волосья...». Выходит, на мужике картуза не было, что вообще-то уже странно: Вагранов задумался, но не смог припомнить случая, чтобы горожане мужского пола появлялись на улице без головного убора. А растрепанный вид может быть и после быстрого бега по кустам. И мужик чернобородый – тот, на аллее, тоже, кажется, был с бородой, но это могла быть и тень от дерева на лице. Как ни крути, пара-то весьма подозрительна! Однако... если в руках мужчины не было ружья, тогда получается – стреляла девушка? Но это же абсурд! Впрочем, в Сибири все возможно. Хотя даже если и так, чем Элиза могла досадить какой-то девице, причем так досадить, что та взялась за ружье? Иван Васильевич в женской психологии, мягко говоря, разбирался слабо, но мог с какой-то долей уверенности предположить, что женщина берет в руки оружие только в крайнем случае. Он слышал, бывает, что женщина из ревности убивает соперницу. Как говорят, мужика не поделили. Из-за какого же мужика могли убить Элизу? Из-за него, Вагранова? Ха, смешно! А других около Элизы не замечалось.

Штабс-капитан вышел с Казарминской на Мастерскую, которая шла над Ангарой до Большой улицы и Белого дома, пересек ее и остановился на небольшом обрыве над водой. Напротив, саженьях в двадцати-тридцати, столпились заросшие кустарниками острова, разбиравшие могучее течение реки на замысловатое сплетение мелких и узких речушек, почти ручьев, каналов и проток. «Так и мысли мои разбегаются, – подумал Иван Васильевич, – а на стрежень никак не выйдут».

Хотя... Стоп-стоп-стоп, как это – других не замечалось? А бывший легионер, который пытался овладеть Элизой и потом, раненный ею, куда-то пропал? И пропал из усадьбы Кивдинских, а у Христофора Петровича дочка-шалава... как ее?.. да, Антонина! Комбатант этот, французский подданный, как припомнил Вагранов, был черноусый, весь из себя видный. Могла Антонина в такого влюбиться? Да запросто! Влюбиться и отомстить за милого дружка. Во-от! Как его звали-то? Элиза говорила... кажется, Григорием. Да, да, Григорий Вогул! Если он опять в Иркутске объявился, значит, под чьей-то крышей. Скорей всего, у Кивдинских, хотя гостиницы и постоялые дворы тоже не мешает проверить. Впрочем, свой французский паспорт он вряд ли будет предъявлять, его же следует регистрировать в полиции. Ну и Устюжанина надо поискать на всякий случай.

Хозяина картуза нашли быстро. Вернее, не самого, а место его пребывания на постоялом дворе. Вещи и конь были на месте, а Герасима полиция, прождав два дня, не обнаружила. Решили, что Устюжанин сбежал, а своими соображениями Вагранов ни с кем не поделился – ему вдруг подумалось, что смерть для Элизы явилась наилучшим выходом.

4

– Ну, переговорил со своим дружкой-приятелем? – Зеленые глаза Кивдинского остро смотрели на Вогула из-под седых бровей.

– Переговорил, – коротко ответил Григорий.

Они сидели в маймачинском доме купца, чаевничали. Из трубы самовара пахло вкусным дымком сосновых шишек, от медных его боков шло умиротворяющее тепло, свежее испеченные ватрушки с молотой черемухой и творогом испускали дразнящий ноздри аромат, который тонко смешивался с ароматом дорогого чая, выращенного на южных склонах гор Уишаня. Крутоносый заварной чайник из обожженной красной глины и чашки тонкого китайского фарфора, расписанные в Янчжоу в стиле горных пейзажей, радовали глаз своим совершенством – Христофор Петрович любил, чтобы в чаепитии все было красиво.

И действительно, красота накрытого к чаю стола настраивала на домашний уютный лад. Вот только крупноколотый рафинад в стеклянной сахарнице немного портил общую картину своими острыми углами. Глаза Вогула то и дело натывались на этот сахар, и каждый раз он внутренне напрягался: бесформенные голубоватые куски словно напоминали, что придется делать, в случае, если его план не удастся.

А план теперь отличался от того, что задумывалось после разговора со Степаном Шлыком.

Страшная смерть Элизы выбила Григория из равновесия. Некий тип с широким оскалом и косою на плече искоса глянул на него из-под глубокого капюшона: вот, мол, ты собирался сделать одно, а я вмешался – и все перевернулось. И вмешался-то просто, думал бывший легионер, – всего лишь подтолкнул глупую девку к ружью – она и ухватилась, вперед не глянув, к чему это приведет. Хотела мил-дружка к себе привязать – ну привязала на пару дней, пока в схроне сидел, даже в койку затащила, а дальше-то что? Послал ее мил-дружок на постоянный двор – узнать, не приходила ли за ним полиция, а как узнал, что пришла да ушла, так и помахал рукой на прощанье. А ведь и в Маймачине может то же приключиться: кто-нибудь подвернется и одним случайным движением порушит замысленное. Да еще и спросит: ты вот решил купца и англичанина повязать да на российскую сторону перекинуть – а зачем? Подарок, что ли, генералу, врагу своему закадычному, сделать? Ну семейство Шлыков оборонить – это понятно, святое дело, однако же, поди-ка, можно попробовать как-нибудь по-другому – чтобы и волки были сыты, и овцы целы? А как – думать надо, думать.

Григорий и придумал. Решение наипростейшее, но сработать может. А вот если не выйдет...

Не хотелось это брать в голову, но – приходится.

– И об чем же ты с ним переговорил? – Кивдинский налил себе новую чашку из заварника, чуть-чуть разбавил кипятком – уж больно крепок напиток, горчит, а сахар Христофор Петрович не употребляет, говорит, мысли от сладкого слипаются.

Вогул тоже сладости не любил, вот ватрушки – дело другое. Особенно треугольные, как матушка пекла, и, конечно, с черемухой – в ней самой сладость есть, но не сахарная, а какая-то... какая-то... дикая, что ли. И косточки черемуховые молотые на зубах похрустывают – так славно.

Он и налегал на ватрушки.

Повторный вопрос застал его в момент, когда рот был полон откушенной сдобой. Кивдинский не торопился с ответом, но глядел пристально, изучающе. Григорий жевал неторопливо, обдумывая слова, которыми надо убедить старика отказаться от недобрых намерений и самому не поддаться.

– Степан за ради внучки на что угодно готов. – Григорий запил прожеванный кусок и тоже наполнил чашку новой порцией чая, а заварник залил свежим кипятком из самовара. Вторая заварка куда как крепче первой. – Однако говорит, вреда особого пожар не принесет.

– Это почему же? – прищурился Христофор Петрович и даже чашку с блюдцем отодвинул в сторону. Так его озадачило неожиданное заявление.

– А говорит, после шилкинского пожара все, что есть деревянного на Петровском заводе, обмазали каким-то клеем, которого огонь не берет, а железо так и так гореть не будет. – Вогул нес эту чушь напропалую, напористо, без запинки. Он еще в Легионе, докладывая командиру о результатах разведки, убедился: чем увереннее несешь бред про скопление сил мятежников, тем больше шансов отдохнуть от боев в наскоро открытых окопах. – У него есть другой расклад. – Григорий снова отхватил полватрушки и с удовольствием начал жевать.

– Да хватит те брюхо набивать! – рассердился Кивдинский. – Говори давай!

Вогул старательно изобразил спешное дожевывание, хлебнул чаю, поперхнулся и закашлялся.

– Тьфу на тебя! – окончательно рассвирепел старик. – Эй, Трофим!

На зов появился невысокий, но широченный в плечах мужик с пудовыми кулаками.

– Дай ему по спине, – показал на кашляющего Вогула Кивдинский. – Да не в полную силу, не то дух вышибешь.

– Не надо! – замахал руками Григорий, испугавшись всерьез. – Уже... уже все!

Он несколько раз глубоко вздохнул, останавливая кашель. Трофим, повинувшись жесту хозяина, неслышно исчез.

– Оклемался? – скривил в усмешке губы, а с ними седые усы и бороду, Христофор Петрович. – Вот уж точно: поспешишь – людей насмешишь. Так что там за расклад такой-сякой?

– Расклад – по машине паровой. Степан делает модели, по коим отливают части машины, то есть детали. В Англии для этих деталей используют самое лучшее железо, сталь называется...

– Знаю про сталь, – махнул рукой Кивдинский. – Дале сказывай.

– На Петровском заводе такой стали нет, гораздо хуже выходит. А чтобы детали были крепкие, у нас их делают толще. И получается – машина тяжеленная, а силы английской в ней нету. Поставят такую машину на пароход, она и тянуть будет плохо, только вниз по течению, а при плохой тяге управляемость тоже плохая, да и осадка у судна больше – значит, все мели будут его. Еще и корпус теперь железный!

– Это все?

– Ну-у... в общем, все.

– А расклад-то Степанов – в чем?

– А-а... главное позабыл. По Степановым моделям детали тоньше получаются, значит, прочность их – меньше. Ломаться будут чаще, а каждая поломка – остановка парохода на починку. Он больше стоять будет, чем ходить.

– Так-так-так... – Кивдинский подумал, пообжимал седую бороду в кулаке. Вогул спокойно жевал ватрушку, запивал ароматным чаем – вторая заварка и верно была куда приятней, – а у самого внутри какая-то жилка дрожмя дрожала: поведется хитрый старик на такую наживку или напраслина на Степана и впрямь окажется напраслиной. – И никто, значит, ничего такого не заметит? Они чё там, слабоокие, али как?

– Да ты не сомневайся, Христофор Петрович, Степан все так сделает, что комар носа не подточит. К нему никто и не придерется, коль скоро его сам Муравьев на завод послал.

– Не об Степане твоём думаю, – отмахнулся Кивдинский. – Чё, я не вижу, чё ли, как ты его отмазываешь? – Старик погрозил узловатым пальцем. Сердце Вогула екнуло: не прокатила, значит, выдумка! – Все я вижу, варначья твоя душа! Ну да ладно, можа, и правда твоя. А вот в голову мою думка затесалась... Помнишь, про торговлишку с Рычаром говорили? – Григорий

кивнул и отставил свою чашку, обратив на Христофора Петровича неподдельное внимание. Что-то в его словах, и даже не столько в словах, сколько в том тоне, каким они говорились, показалось ему любопытным. – И я тогда булькотнул, что мы, мол, купцы, в торговле с кем угодно заединщики. А теперь думаю – совра-ал! Какие мы, к лешему, заединщики?! Заединщики – значит, товарищи, а мы промеж своих грыземся не хуже волков. – Кивдинский поднял указующий перст. – Конку-рен-ция! – со вкусом, по частям, выговорил он иноземное слово. – А энтих, аглицких, к нашим богатствам только подпусти – сожрут! Схрумкают наши косточки и не подавятся. У наших-то какая-никакая однако честь-совесть имеется. А у тех ее и с фонарем не сыскать. Какие уж тут заединщики!

Вогул ушам своим не верил. Он-то думал, что вот-вот придется схлестнуться со всей этой закордонной камарильей, а теперь выходит, старый хрен-купец англичанину не брат и не сват, того и гляди Муравьева начнет поддерживать. А Христофор Петрович, словно подслушав взъерошенные мысли Григория, продолжил:

– У меня, конечно, на генерала нашенского зуб огромный, и я ему разор мой никогда не прошу, однако ж, ежели по большой правде судить, то на Амур прицел он правильно выставил, и купечество сибирское и промышленники наши ему за это еще не раз в ножки поклонятся. Там же богатства немереные – и зверь пушной, и рыба-кит, и леса – руби не хочу! И всем энтим с аглицкими горлохватами делиться?! Мы чё, недоумки, чё ли?

– А ты откуда про богатства-то амурские знаешь? Бывал там или сказывал кто?

– Бывал, – неохотно уронил Кивдинский. И, помолчав, добавил: – С Корнеем Ведищевым по молодости сплавлялись. А он меня, гад такой, генералу заложил!

– А ты генералу отстегни денжат на амурское дело, глядишь, и поладите.

Кивдинский пронзительно глянул на Вогула из-под седых бровей – проверил, шутит, нет ли, но лицо Григория было непроницаемо, и старик, опустив голову, глубоко задумался.

Вогул тоже помалкивал. Ему самому было о чем подумать. Он уже знал, что Остин куда-то исчез из Май-мачина, причем даже Кивдинский не знал куда, но это, может быть, и к лучшему. Гнездо, получается, разорилось само собой: вон и старик уже готов если не на мировую с Муравьевым, то на перемирие. И основание у него, можно сказать, веское: понял, что от англичан ждать ничего хорошего не приходится. Если русский купец все меряет рублем, не претендуя на его превосходство, и ради этого готов дружить с кем угодно, то у английского торговца главенство фунта стерлингов превыше всего, и ради этого он готов воевать с кем угодно. Есть разница? Есть, да еще какая разница! Сам Григорий пропитался неприязнью к англичанам, служа в Иностранном легионе (кстати, в нем кто только не подвизался, но британцев не было – ни одного!). Все его солдаты и офицеры знали, что мятежников Абд аль-Кадира тайно поддерживает и снабжает оружием Великобритания – так она руками алжирцев воюет со своей извечной соперницей Францией. И вообще, Англия – мастерица *tirer les marrons du feu*²⁵, особенно чужими руками.

Но что теперь делать ему, Вогулу? Он-то, в отличие от старика Кивдинского, списывать Муравьеву должок не собирается. Вот только остался он совсем один. Степан его отрезал от себя, Гринька считает убийцей (хотя правильней было бы если и называться убийцей, то несостоявшимся: все его покушения оканчивались ничем, видно, Господь Бог так распорядился, чтобы руки Григория Вогула оставались чистыми – и это, пожалуй, неспроста, надо обдумать), Анри вообще куда-то пропал – ни слуху о нем ни духу. Остается два пути – примкнуть к уркам или вернуться в Европу. К бандитству душа не лежит, в конце-то концов, он – человек военный, солдат, а солдатская честь и грабеж мирных жителей в его сознании как-то не совмещаются. Да, он участвовал в разграблении города Константины, но там была война, а на войне издавна такая традиция – обзаводиться после победы трофеями, естественно, за счет поберж-

²⁵ Tirer les marrons du feu – таскать каштаны из огня (*фр.*).

денных. Так что совесть его с этой стороны спокойна. А нападать на кого-либо, чтобы просто пожить, – совсем другое дело.

Так что не два пути остается, а только один – вернуться в Европу. Но почему бы и нет? Паспорт французский он сохранил, сил хватает – работа подходящая наверняка найдется. Да вот дорожка на Запад через всю Россию ему заказана: что Григория Вогула, что Герасима Устюжанина рано или поздно схватят. Зато на Восток прорваться, к Великому океану, есть резон: там, он слышал, корабли иностранные ходят, а с ними можно и в Америку уплыть. Про Америку в Легионе сказывали, что там любой может укорениться, там население сплошь из таких, как они, легионеры, состоит.

Ладно, с этим решено. Куда идти – ясно, а как идти? Через Китай – опасно: китайцы из-за войны с англичанами на всех белых обозлены; в лицо улыбаются, кланяются, а спину лучше не подставляй. Значит, надо вниз по Амуру, однако спускаться в одиночку – можно запросто пропасть, как говорится, ни за понюшку табаку. Так может, лучше дожидаться сплава? Говорят, он следующей весной начнется – а ему, Григорию, куда спешить? Там народу много будет, затеряться несложно. А пока прибиться к плотовщикам – плоты с ними вязать, вряд ли кто его у плотогонов искать будет. Можно и бумагой запастись, от того же Машарова, мол, послан помогать сплавному делу.

Вогул прокрутил план в голове и так и сяк, благо Кивдинский не отвлекал – тоже был погружен в раздумья, – и пришел к выводу, что решение со сплавом, пожалуй, наиболее подходящее.

Глава 6

1

Люди едут в какую-либо страну из любви к ней, или по необходимости, или, наконец, из простого любопытства – Муравьев ничего подобного к Англии не испытывал. Более того, можно с уверенностью сказать, что он ненавидел эту страну, считая, что Россия уже полвека находится под ее незримым гнетом. До него доходили слухи, что именно англичане задумали заговор против императора Павла, так как испугались его примирения с Наполеоном и подготовки совместного похода в Индию, и он нисколько не сомневался в справедливости этих слухов. С той поры, по его мнению, они и крутили правительством России как хотели через своих агентов.

Николай Николаевич был убежден в прирожденном коварстве и холодной расчетливости британцев, в их изначальной высокомерии и озлобленности против русских (правда, не понимал, откуда они произошли, эти качества их национального характера, да, в общем-то, глубоко над такими вопросами и не задумывался), а тут вдруг появилась возможность окунуться в непосредственную жизнь враждебной страны или хотя бы ее столицы. И он не преминул этим воспользоваться, ощутив себя вроде как разведчиком. Этому способствовало и то, что за границей ему приходилось носить цивильный костюм, и он откровенно скучал по военному мундиру. Кстати, в других странах, той же Франции, Германии или Испании, у него ощущений разведчика не было. Наоборот, он к ним чувствовал полное благорасположение.

Однако в Лондоне Муравьев довольно быстро устал. Несколько дней пребывания в крупнейшем городе мира были насыщены до предела делами бездельника (так он назвал свое времяпрепровождение). Поездки в кэбе по шумным улицам, заполненным самыми разнообразными людьми – от оборванных детей с грязными худыми личиками, на которых была написана постоянная готовность или украсть, или заработать любым способом мелкую монетку, до джентльменов в цилиндрах и сюртуках с бархатными воротниками, прогуливающих своих дам с кружевными зонтиками... Посещения музеев – Оружейной палаты Тауэра, Национальной галереи (он ничего не понимал в живописи и скульптуре, но был уверен, что Катрин обязательно спросит, что видел), постоянной выставки восковых фигур недавно умершей мадам Тюссо на Бейкер-стрит (его буквально потряс Кабинет ужасов Французской революции), Вестминстерского аббатства, дворца Тюдоров Хэмптон Корт, собора Святого Павла... Прогулки по Гайд-парку (вокруг прелестного озера Серпентайн), Риджентс-парку (чуть ли не целый день он провел в тамошнем зверинце), Грин-парку (тылы Букингемского дворца, постоянной королевской резиденции, были в строительных лесах)... Слава богу, избежал заходов в шикарные магазины Бонд-стрит и Оксфорд-стрит – решил, что для Катрин хватит и парижской Риволи, тем более что все равно ничего для нее не смог бы здесь купить: генерал, как он считал, вовсе не обязан что-либо понимать в платьях, сумочках, туфлях, украшениях и прочей женской белиберде. Но зато каждый вечер перед возвращением в свой отель – а он жил в самом центре Лондона, в огромном Hotel London Mayfair, занимавшем почти целый квартал на улице Гросвенор-Сквер между Карлос-Плэйс и Саут-Одли-стрит, – генерал заходил в какой-нибудь паб – выпить кружку темного эля и понаблюдать за отдыхающими горожанами. Ведь известно, что лучше всего человек проявляет себя в трех состояниях – в работе, отдыхе и в отношении к другим людям, особенно к старикам и детям. (Разумеется, есть еще одно определяющее проявление – в любви, но оно обычно скрыто от посторонних глаз.)

Как в Лондоне работают, он полюбопытствовал на строительстве грандиозной башни, задуманной – так ему пояснили – как часть готического здания Парламента на берегу Темзы;

при общей ее высоте почти сто метров чуть выше середины должны установить огромные часы. Башню с часами будет видно с любого конца Лондона. Сооружение, конечно, грандиозное, в России ничего подобного нет, но Муравьева впечатлила не колоссальность строительства и даже не организованность работ, а их механизация – ему очень понравилось, что для подъема и перевозки грузов англичане применяют паровые машины. Степана Шлыка бы сюда с его головой, подумал он, глядишь, и перенял бы что-нибудь для наших нужд, а то у нас все руками, руками да на своем горбу.

Понаблюдал он и за другими работами – тех же кэбменов, уличных мусорщиков, полицейских. Нормальные, как правило, добродушные люди, любители пошутить и посмеяться. Никакой заносчивости, а уж тем паче злобности не ощутил. И это располагало к ответному дружелюбию.

В пабах, что были далеко от центра города, где собирался простой люд, Николай Николаевич слушал бытовые разговоры – о семейных делах, где главными персонажами были сварливые жены и непослушные дети, о заработках и налогах, о богатстве и бедности, сам заговаривал кое с кем, причем в нем сразу узнавали иностранца и если не принимали за француза, то относились хорошо. А вот французов нескрывая не любили, чему генерал ничуть не удивлялся, так как еще с уроков в Пажеском корпусе знал историю отношений Англии и Франции, которые веками грызлись как кошка с собакой. Недаром именно между ними была Столетняя война.

В общем, размышлял он, попивая эль, сами британцы народ неплохой, а то, что у него правители любят нос задирать, так это и у нас случается. За примерами далеко ходить не надо. Вон светлейший князь Меншиков был отправлен послом в Константинополь и так высокомерно себя вел даже с султаном, что война стала неизбежной (и она уже почти что началась). И ведь опять же пошел на поводу у британского посла... как его?.. Стратфорд-Рэдклифа – об этом в Европе все газеты судачили.

Вот кого генерал невлюбил, так это газетчиков.

В кафе и пабах ближе к Вестминстеру, на Пикадилли, Стрэнде, Пэлл-Мэлл или Трафальгарской площади, где публика была чище, то бишь сословно выше – состояла из чиновников, мелких торговцев и предпринимателей, юристов, врачей, учителей – и где разговоры шли главным образом о политике, журналисты всегда оказывались в центре внимания. Они отличались крикливостью, безапелляционностью, всезнайством, кичились близостью к правительству и парламенту, интересы Великобритании ставили превыше всего и нападали в своих высказываниях на главного якобы противника этих интересов – Россию. Все дискуссии вертелись вокруг предполагаемого захвата русскими Балкан, Константинополя и Проливов, раздела несчастной Османской империи, ради спасения которой Англия немедленно должна отправить свой флот в Черное море. Собственно, их и дискуссиями-то нельзя было назвать, поскольку каждое такое высказывание сопровождалось одобрительными аплодисментами, а то и криками «браво!». Эти аплодисменты и крики одобрения хулителям России недвусмысленно говорили о настроении тех, кто создает так называемое общественное мнение. Это общество жаждало войны и приветствовало ее. «Послать бы вас самих в окопы, – с тихой яростью думал Николай Николаевич, – там бы вы быстро вылечились от воинственной лихорадки».

Много домыслов услышал Муравьев и об императоре Николае Павловиче и его семье: о природной кровожадности русского царя, который якобы любит травить людей медведями; о дегенеративности царской семьи, которая спасается от полного вырождения только тем, что наследники женятся на немецких принцессах, но от этого становятся, подобно немцам, глупее и глупее; о том, что в императорском дворце устроена баня, где парятся вместе мужчины и женщины, а потом пьют водку и спят все со всеми. И много еще всякой грязной всячины.

Однажды он не вытерпел этой галиматши, стукнул кружкой о стол так, что эль выплеснулся на скатерть, и встал, намереваясь дать укорот особенно злоязыкому щелкоперу, но тут за спиной раздался негромкий, однако твердый голос, причем говорящий по-русски.

– Спокойно, генерал Муравьев. Не делайте глупостей. Садитесь.

Голос был, как ни удивительно, женский. Собственно, это и удержало его от немедленного возмущения. Он хотел обернуться, но тот же голос удержал:

– Я сказала, садитесь. Поворачиваться не надо. Через полчаса жду вас в Гросвенор-Сквер-Гардене, напротив вашей гостиницы. Повторяю: через полчаса.

Он сел и все-таки обернулся и успел увидеть мелькнувшие в дверях кафе полосатое платье и шляпку с какими-то цветами.

Ну и что это было, вернее, кто это был? – спросил он себя, небольшими глотками допивая эль. Какой-то наш агент, удержавший именитого туриста от безрассудного поступка? Во всяком случае, по зрелом размышлении следует признать: если бы он, Николай Николаевич, начал ссору с грязным витийствующим клеветником, это ничем хорошим для него бы не кончилось. В одном из вполне респектабельных пабов он видел, как разъяренная орава британских патриотов едва не разорвала в клочья седовласого джентльмена, осмелившегося задать очередному оратору невинный вопрос: а есть ли живые свидетели всех этих ужасов кровожадности и безнравственности русских? Каким-то чудом джентльмен вырвался и сбежал, провожаемый вульгарным улюлюканьем и разбойничьим свистом благонамеренных соотечественников.

Через полчаса, но уже в сумерках, генерал Муравьев вошел в Гросвенор-Сквер-Гарден, сад, расположенный через улицу перед его отелем.

Отель он выбрал по совету Ивана Демьяновича Булычева, с которым встретился в Байонне. К Ивану Демьяновичу Николай Николаевич относился с большой симпатией и уважением, поскольку из всей комиссии сенатора Толстого, ревизовавшей Восточную Сибирь (после чего был уволен генерал-губернатор Руперт), только Булычев и князь Георгий Львов решились поехать в Охотск и Камчатку, и от них впоследствии новый генерал-губернатор узнал много для себя полезного. Булычев приехал в Байонну прямо из Лондона и был переполнен восторженными впечатлениями. Ему как любителю старины чрезвычайно понравился стиль отеля, построенного почти сто лет назад, – изысканный и в то же время уютный; его очаровали высокие потолки, мраморный пол, мебель ценных пород дерева, колонны из красного гранита, поддерживающие архитрав портика главного входа, тяжелые бронзовые двери которого открывали два статных швейцара в красно-синих ливреях (цвета английского флага), богато украшенных золотым шитьем. Стиль пришелся по душе и Муравьеву, правда, для его тощего кошелька он оказался накладным, но генерал махнул рукой: э-эх, один раз живем! – и снял одноместный номер на неделю. Зато, усмехался он, сэкономил на переездах, поскольку все достопримечательности столицы туманного Альбиона оказались в пределах десятипятнадцатиминутной поездки в кэбе. Единственное, что его огорчало, это отсутствие рядом с ним его Катюши. С ней он мог бы поделиться непосредственными впечатлениями – их было великое множество, а приходилось все держать в себе; восторги и негодования накладывались в душе слоями, и он предчувствовал, что по возвращении в Париж многие яркие детали померкнут, и останется лишь нечто общее, подобное покрывалу на новом памятнике, обрисовывающему какие-то выпирающие части монумента, но скрывающему его оригинальную красоту. Только покрывало это, увы, уже не сдернешь.

Понравился Муравьеву и сам Гросвенор-Сквер-Гарден – большой по русским меркам, но ни в малейшей степени не сравнимый по величине с соседним огромным Гайд-парком, – зеленый островок посреди вздыбленных каменных волн городских построек. По сути это была большая лужайка, окаймленная каштанами и липами, под которыми стояли деревянные белые скамейки со спинками. Улица Гросвенор-Сквер огибала сад с трех сторон, с четвертой, запад-

ной, стороны он почти вплотную примыкал к зданию посольства Соединенных Штатов Америки. Весьма уютный уголок и для одиночного отдыха, и для частных встреч.

Муравьев выбрал скамейку под развесистым каштаном, благо ни одна не была занята, сел и закурил сигариллу. Из его засады хорошо были видны оба входа в сад – их высвечивали уличные газовые фонари, – и пропустить появление женщины он бы никак не смог. До назначенного времени оставалось несколько минут. Николай Николаевич пускал из ноздрей тонкие струйки ароматного дыма и усмехался сам себе, с немалой долей иронии думая над свалившимся на него приключением. Ответа на вопрос «кто бы это мог быть?» по-прежнему не находилось. Другое дело, зачем назначена встреча. Просто предупредить об опасности могла любая русская, живущая в Лондоне. Хотя... как бы она определила, что он – тоже русский, да еще и узнала его? Значит, не любая. Кроме того, какие-то интонации в ее голосе показались ему смутно знакомыми – как будто прилетевшими из не столь уж далекого прошлого. Но как ни напрягал он память, вспомнить не сумел. Ничего, еще несколько минут, и все загадки разрешатся.

Видимо, он слишком погрузился в прошлое, пытаясь найти ответы, потому что совершенно не заметил, когда и как таинственная женщина появилась рядом с ним. Вот только что никого поблизости не было, никто не входил в сад, а она уже сидит возле него на скамейке. Словно вечерний воздух вдруг уплотнился, образовав эту изящную легкую фигуру. Полосатое платье перехвачено в тонкой талии одноцветным кушаком (в бледно-голубоватом газовом свете истинные цвета не разобрать – все кажется черно-белым); руки в длинных белых перчатках, выше – белые же облегающие рукава, резко расширяющиеся у локтей и снова сужающиеся к плечам; кружева закрывают верхнюю часть груди до горла. На голове – шляпка с широкими полями, отороченными кружевами, тулья украшена цветами; лицо скрыто белой вуалью. На левой руке – белая сумочка. Элегантно, черт возьми, подумал Муравьев, одним взглядом охватив всю ее целиком и отметив детали одежды, названий которых он не знал, однако догадывался, что они весьма и весьма модны.

Но как она умудрилась незаметно просочиться (он не нашел другого подходящего слова) в сад?!

– Я пришла раньше, – сказала женщина, словно прочитав его мысли. – Там, позади вас, есть еще одна скамейка.

Говорила она по-русски, но теперь он уже явственно различил какой-то акцент. Возможно, английский. И снова повторилась тревожащая знакомая интонация.

– Кто вы и что вам надо? – Он постарался, чтобы тон был спокойный, даже немного равнодушный. Еще и пепел с сигариллы стряхнул этаким небрежным жестом. – Откуда вы меня знаете и почему оказались рядом? Следили за мной? По какому праву?

– Да не волнуйтесь вы так! – Он не увидел под вуалью, но она явно усмехнулась.

– И не думаю! – Он снова стряхнул пепел, хотя на кончике сигариллы его уже не было. Заметил это и рассердился. – С чего вы взяли?

– Столько вопросов сразу задают обычно встревоженные люди.

– Столько вопросов возникает у нормального человека, когда с ним говорят загадками.

– Хорошо, не будем спорить. Я развею некоторые ваши недоумения, но не все. Да, я следила за вами. Два дня, после того как случайно увидела на прогулке в Гайд-парке. Спасла вас сегодня от больших неприятностей.

– Это я понял, – кивнул Муравьев. – Благодарю. Но уж очень развязно по отношению к августейшей фамилии вел себя этот журналист. Так ведут себя только откровенные враги.

– А что, русские патриоты будут вести себя иначе, если кто-то затронет их национальные интересы? Насколько я знаю русских, так называемый квасной патриотизм у них в крови. – Женщина откровенно саркастически засмеялась. – Во Франции его называют лакейским патриотизмом.

Муравьев разозлился. Почувствовал, как лицо запылало от прилившей крови. Отбросил погасшую сигариллу и обеими руками вцепился в трость, словно собрался обрушить ее на противника.

– Генерал-ал, – почти пропела женщина, – остыньте. Я не хотела вас обидеть.

Муравьев осадил себя. Передохнул.

– Не все патриоты у нас квасные, – хрипло сказал он, – а тем более лакейские. Есть и настоящие радетели за Отечество.

– Есть, есть, и вы – один из них, – снова засмеялась она, однако совершенно другим смехом. В нем теперь не было сарказма и даже проскользнуло что-то похожее на дружелюбие. – А за десять лет, генерал, вы почти нисколько не изменились.

– Десять лет? – насторожился он.

– Ну почти десять. Время так быстро летит!

И теперь он узнал ее. По этой фразе, которую она не раз говорила с неповторимой чувственной интонацией после бурной ночи в спальне начальника Четвертого отделения Черноморской линии генерал-майора Муравьева.

– Алиша... – произнес он как-то неопределенно, не то утверждая, не то спрашивая.

2

Жанно и Франсуа провели Катрин сначала по железной винтовой лестнице вниз, в подвал, а там – по лабиринту освещенных факелами коридоров с каменными стенами, в которых были проемы на манер дверных, но двери заменяли железные решетки с висячими замками. Глухие помещения за решетками пустовали, и только в одном что-то шевельнулось, когда они проходили мимо, – оглянувшись, Катрин увидела заросшее косматой бородой лицо, прильнувшее к решетке, и пальцы рук, вцепившиеся в прутья. Вслед им раздалось рычание, в котором можно было разобрать слово «зверство». В голове промелькнуло: «замок Иф», «Эдмон Дантес» – у себя дома, в шато Ришмон д'Адур, Катрин как раз успела прочитать роман «Граф Монте-Кристо», и в памяти легко всплывали мрачные картины тюремного замка, в котором 14 лет томился невинный заключенный.

Ей стало зябко, но тут они подошли к еще одной винтовой лестнице, по которой поднялись на площадку перед дубовой лакированной дверью; за дверью оказалась небольшая зала. Она была пуста, если не считать письменного стола с вольтеровским креслом за ним и простого стула на некотором расстоянии перед ним. За спинкой кресла виднелась еще одна дверь.

Тайные агенты – а Катрин не сомневалась, что попала в руки тайной полиции, ведь, пожалуй, об этом предупреждал ее комиссар Коленкур, – усадили задержанную на стул и встали за спиной.

Скрипнула дверь за креслом, и в залу вошел широкогрудый невысокий мужчина средних лет. Зачесанные назад прямые темные с проседью волосы открывали высокий лоб с залысинами, под кустистыми бровями светились умные глаза. Тонкий нос с горбинкой слегка нависал над большим, похожим на жабий, ртом. На левой стороне груди коричневого сюртука красовалась серебряная пятилучевая звезда Ордена Почетного легиона на алой ленте с желто-красной розеткой – знак командора Ордена.

Вошедший наклонил голову, видимо, здороваясь с Катрин (она кивнула в ответ), и мановением руки отпустил агентов. Она услышала, как за спиной удалились мягкие шаги и щелкнула замком входная дверь. Командор Ордена опустил в вольтеровское кресло и откинулся на высокую прямую спинку.

– Может быть, для начала месье представится? – спросила Катрин, смело взглянув в глаза незнакомца.

– Виконт де Лавалье, – мягко скользнул в уши глубокий баритон. – Шеф специального отдела Сюртэ Женераль. Вам это о чем-нибудь говорит?

– О да! Ведь это вы подсылали ко мне Анри Дюбуа и, скорее всего, ваше задание выполняла в нашей семье Элиза Христиани? – Катрин решила играть в открытую, собственно, что ей терять? – Правда, у меня сложилось впечатление, что они ничего не знали друг о друге.

Лавалье помедлил с ответом, возможно, тоже решал, как себя вести.

– Насчет Дюбуа отрицать не стану, и они действительно не были знакомы, но почему вы решили, что Элиза Христиани тоже наш агент?

– А разве нет?

Лавалье пропустил вопрос мимо ушей, направив диалог в свое русло:

– Вы недавно побывали в шато Дю-Буа и, конечно, узнали о письме генерала Муравьева...

– Это не его письмо! – резко прервала его Катрин.

Лавалье с интересом посмотрел на нее:

– Хорошо. Об этом поговорим чуть позже. А пока...

– А пока, господин виконт, я хочу знать, – решительно перебила его Катрин, – на каком основании меня, подданную Российской империи, ничем не нарушившую законов Франции, хватают, как преступницу, применяя насилие и обездвиживающие средства, привозят в неизвестное место против моей воли и, похоже, собираются подвергнуть допросу? Я буду жаловаться императору французов!

– Ой-ой-ой, сколько неподдельного пафоса! Сколько экспрессии! – воскликнул, не повышая голоса, Лавалье. И продолжил проникновенно: – Мадам, мои подчиненные не причинили вам ни малейшего вреда. Я в этом абсолютно уверен. Только небольшое неудобство в виде эфира, чтобы не привлекать ненужного – подчеркиваю: для вас ненужного – внимания. Ведь если бы вздумали кричать – а вы обязательно стали бы звать на помощь, – вас пришлось бы объявить проституткой, обокравшей клиента. Согласитесь, неприятного в этом было бы намного больше, чем в десятиминутном обмороке.

Катрин была настолько ошарашена вероятностью объявления ее проституткой, что не нашлась, что сказать, однако ее возмущение не имело границ. Она разводила руками и открывала рот, но слов не было.

Виконт подождал, пока задержанная немного успокоится, и неторопливо сказал:

– Хочу пояснить в отношении жалобы. Жаловаться императору французов – это, разумеется, ваше право. В теории. А на практике оно появится у вас в зависимости от того, чем закончится наша встреча.

– Вы мне угрожаете?! – снова вскинулась Катрин.

– Нет. Информировать. Но давайте продолжим. Итак, историю с письмом вы уже знаете. Знаете, что источником информации о вас послужила Христиани... А все-таки почему вы решили, что она – наш агент? Раз уж мы начали, давайте говорить начистоту.

– Я не решила – просто предположила. Вспомнила, как она интересовалась делами мужа, его планами... Как рвалась в поездку на Камчатку. Я-то думала – жажда романтики, а теперь поняла: ей важно было своими глазами увидеть состояние дорог и самой Камчатки. А тут и открытие Невельского подоспело. Вы ведь знаете об этом открытии?

– Разумеется, – кивнул Лавалье. – Я узнал о нем раньше вашего императора. Я имею в виду – российского.

– Ну вот!.. Прочитав письмо и вспомнив некоторые факты, я все сопоставила и пришла к выводу...

– Да вы прирожденная разведчица! – восхищенно рокотнул баритон виконта. – Но, понимаете ли, дело в том, что мадемуазель Христиани не является нашим штатным агентом. Как бы это сказать... Она нам помогала по нашей просьбе, вернее, по поручению своего мецената,

которого весьма убедительно попросили мы. А теперь меценат потребовал ее возвращения в Европу, у него большие виды на ее концертную деятельность. И ей нужна замена!

Произнеся последнюю фразу с явным восклицанием, Лавалье уставился своими умными черными глазами на Катрин, несомненно рассчитывая на определенную реакцию. И Катрин не обманула его ожиданий.

– Вы хотите, чтобы я заменила Элизу, и полагаете, что я соглашусь?!

– Но вы же умная женщина, мадам, и должны понимать, что выхода у вас нет.

В бархатном голосе виконта металлической струной прозвенела торжествующая нотка, а может быть, это Катрин только показалось, но у нее внутри, где-то чуть ниже сердца, зародился и быстро стал расти комочек злости, подобный холодному снежку, на который налипали новые порции снега (вспомнилось, как они с Мишей Волконским лепили снежную бабу). Ну, мы еще посмотрим, кто кого, подумала она, и от этой дерзкой мысли ей стало легче и веселее.

– Выход есть всегда, – сказала Катрин и улыбнулась.

– Не скажите, – покачал головой Лавалье. – Отказаться вы не можете. Ну если только предпочтете умереть, просто исчезнуть в наших подвалах. Вам их показали? Но если даже так случится...

Он сделал театральную паузу, несколько секунд, давая ей прочувствовать сказанное. И она действительно ощутила вдруг ледяющий выдох смерти, вместе с которым донеслось: «Зверрство!» – и прошептала:

– Вы не посмеете... – в то же время чувствуя, что посмеют. Вот возьмут и прямо из этой залы спустят в подвал, в одну из камер за решеткой. Теперь-то она понимала, что это – тюремные камеры, и что ее специально провели сюда через подвал. И никто не узнает, куда она пропала. Она представила бессилие Николая, который, конечно, в поисках ее перевернет всю Францию, и ей стало безумно жалко его, себя, друзей...

Нет, это невозможно, ее просто пугают. Надо взять себя в руки! И она действительно успокоилась, не предполагая, какой новый иезуитский удар готовит ей Лавалье.

– Мало того, что вы умрете, – мягким саваном обволакивал ее баритон, – в глазах мужа вы еще предстанете шпионкой. – Катрин изумленно вскинула голову. – Видите ли, благодаря Элизе Христиани у меня имеются рабочие материалы секретных отчетов генерал-губернатора Восточной Сибири императору, писанные вашей рукой. Он ее, конечно, знает: вы же часто помогаете мужу, переписывая отчеты и донесения. Так что есть чему поверить. А потом, немного позже, я постараюсь, чтобы император – ваш император! – узнал, что его любимец-генерал работает на французскую разведку – иначе как бы эти материалы оказались в моих руках.

О боже! В ее сердце вцепились когти ужаса, но тут же проскочила спасительная мысль: он говорит «я», «у меня», «в моих руках» – значит, держит все у себя? Значит, не будет его – исчезнет опасность! Катрин схватилась за сумочку, лежавшую на коленях, сунула в нее руку, и гладкая рукоять револьвера сама легла в ладонь.

– Оставьте, мадам, свой лефосе в покое, – четко произнес виконт. – Я знаю, что вы превосходно стреляете, но я это делаю быстрее и лучше. – В его руке неизвестно откуда появился небольшой тупорылый двустольный пистолет, направленный на нее. – Франсуа и Жанно были предупреждены, и я, честно говоря, удивился, что вы не попытались воспользоваться своим оружием.

Катрин снова пришлось брать себя в руки. Она изобразила удивление.

– При чем тут оружие? Мне просто нужен носовой платок. – Катрин достала из сумочки батистовый четырехугольник, отороченный кружевами, и вытерла под вуалью лоб, действительно покрывшийся испариной.

– Н-ну, если так... прошу извинить. – Виконт положил револьвер на стол. – Издержки профессии, знаете ли. Надо всегда быть начеку. Итак, мадам, вы поняли, чем вам грозит пер-

вый вариант отказа – это ваше исчезновение и последующий позор – сначала для вас, затем для вашего мужа. Нормальному человеку и этого достаточно, чтобы согласиться с моим предложением. Но, допустим, вы своей жизнью не дорожите, а что касается остального – питаете надежду, что никто в шпионаж – ваш и вашего мужа – не поверит. Возможно, что и так, но карьера его в любом случае будет оборвана. Однако если и это вас не пугает, и вам нужны более сильные аргументы, всплывает история с отравленным письмом.

Виконт опять сделал паузу – он явно был равнодушен к театральным эффектам, при этом бесцеремонно разглядывая клиентку.

– При чем тут письмо? – внутренне напрягаясь, чтобы не поддаться давлению, которое она чувствовала всем своим существом, воскликнула Катрин. Мысли ее снова лихорадочно заметались в поисках выхода из западни.

– Письмо было послано генералом Муравьевым! И французский суд может отправить его на гильотину! – В устах Лавалье это прозвучало столь выпренне, что Катрин вдруг успокоилась и невольно усмехнулась, несмотря на всю драматичность ситуации.

– Вы, должно быть, начитались готических романов, месье, – с горечью сказала она, – если полагаете, что боевой русский генерал из мести кому-либо может написать письмо такого содержания. Даже жене врага. Про чиновников не скажу, но русские офицеры, сколько я их знаю, – люди высокой чести и благородства. Вот французский аристократ, особенно мелкого пошиба, на подобную подлость способен вполне. – Она заметила, как непроизвольно дернулась щека виконта, и злорадно подумала: так тебе и надо, сукин сын, мерзавец! И закончила: – Фальшивка – она и есть фальшивка.

– Фальшивка?! Вы видели само письмо?

– Видела. Разумеется, копию. Фотографическую копию, – подчеркнула она. – Почерк и подпись мужа даже не подделаны, а просто – неизвестно чьи.

– Ах, Аллар, Аллар, – покачал головой виконт. – Придется указать префекту полиции на нарушение тайны следствия.

– Какая может быть тайна, если дело закрыто?

– Вам и это известно? Однако следствие можно всегда возобновить в связи с новыми обстоятельствами, – вкрадчиво, но с нажимом произнес он.

Страх опять проснулся и царапнул коготком сердце Катрин. Она кашлянула, чтобы не выдать вспышку боли от этой царапины.

– Какие еще новые обстоятельства?

– Ну как же! А появление генерала Муравьева на территории Франции – это же просто подарок правосудию! О прочем умолчу, но смею заверить: имеется и еще кое-что.

– Вы отлично знаете, месье, что мой муж никого не убивал, – сказала Катрин. Она безмерно устала от нескончаемого плетения виконтом правды и лжи; ей так захотелось, чтобы все как можно быстрее закончилось, что она уже готова была согласиться стать шпионкой. Подумаешь, потом расскажет все Николая, и они вместе что-нибудь придумают. Однако, прикинув за и против, решила бороться до конца. – И о женитьбе Анри Дюбуа мы понятия не имели. Он исчез после неудачного покушения на Охотском тракте. Муж даже не знал, что Анри там был.

– Об этом ему могла сказать Элиза, – возразил Лавалье.

– Могла, – согласилась Катрин. – Но муж не стал бы таиться, а немедленно со мной объяснился. Как и по всему остальному, о чем написано в письме. Не такой он человек, чтобы играть в тайны и секреты. – Она спешила высказаться, только бы защитить Николая от угрозы. – С судом над ним у вас ничего не выйдет: он легко докажет, что письма не писал, для этого есть графологи. Разумеется, вы можете устроить покушение на него в Европе, но генерал Муравьев – не рядовой военный, он – правитель половины России, его убийство станет грандиозным скандалом, и вам вряд ли хочется подставлять свою карьеру под этот топор. Тем более что

смерть Муравьева мало что изменит на Амуре и Тихом океане, а вы ведь этого добиваетесь – у генерала есть прекрасные помощники, которые продолжают его дело...

Лавалье глядел на Катрин со все возрастающим интересом – она это видела по его глазам, – и когда остановилась передохнуть, даже подтолкнул ее:

– Я слушаю вас, мадам.

– Так что ваши более сильные аргументы, виконт, оказались гораздо более слабыми. – Катрин вздохнула, помолчала. Лавалье терпеливо ждал. – Но умирать мне, честно говоря, не хочется... – Она горестно покачала головой. – Только вот не пойму, какой вам будет прок от сведений, которые смогу собрать я, – это такая мелочь!..

– Что вы, мадам! Как у нас говорят, и самая прекрасная девушка Франции может дать только то, что у нее есть. Хороший разведчик, собирая разные сведения, даже мелкие, сопоставляя их с другими, может делать очень важные выводы. Я не должен вам этого говорить, так как методы разведки открыты только для служебного пользования, но мне совсем не хочется, чтобы вас грызла совесть. Успокойте ее: ваш вклад в наш анализ будет столь мал, что вряд ли можно считать его преступлением, – так, на уровне светской болтовни. В столичных салонах выбалтывают куда более серьезную информацию.

– Благодарю за заботу о моей совести, – со всей иронией, на какую была сейчас способна, откликнулась Катрин.

– Значит, я правильно понял? Вы добровольно даете согласие на сотрудничество? – Он подчеркнул – «добровольно». Катрин развела руками: увы! Лавалье вынул из стола лист бумаги, гусиное перо и чернильницу. – Тогда подпишите обязательство.

Катрин внимательно прочитала: «Я, Муравьева Екатерина Николаевна, в девичестве Катрин де Ришмон, даю согласие...» Надо же, все подготовлено, даже написано каллиграфическим почерком – остается только поставить подпись.

– А как подписывать? По-русски или по-французски?

– Для надежности – и так и так.

Катрин встала, положив лист на стол, и взяла перо. Наклонилась было и занесла руку, но остановилась и остро взглянула на виконта:

– У меня есть условие. Даже два.

– Какие условия?! – возрился на нее Лавалье.

– Во-первых, вы должны отозвать из России Анри Дюбуа. Я не хочу, чтобы мой муж постоянно был под угрозой покушения.

– Принимается, – махнул рукой виконт. – А второе?

– За смерть Анастаси Дюбуа кто-то будет наказан?

– Вы хотите ареста вашего мужа? Пока что все указывает на него. Подписывайте бумагу, мадам, и договоримся об оплате ваших услуг.

– Вы с ума сошли! – вспыхнула Катрин. – Какая оплата?! Вы решили меня унижить еще и этим?

– Все, что бесплатно – то аморально. Помните такую поговорку? Она родилась не в Сюртэ Женераль – это придумал народ. А народ зря говорить не будет.

– Я вижу, вы любите поговорки. Вот вам еще одна: кого дьявол купил, того и продал. А меня вы не купили и не купите.

Везли Катрин с завязанными глазами. Повязку сняли лишь перед самой высадкой из фиакра, рядом с домом тетушки.

Женевьева де Савиньи встретила племянницу уже в полном здравии. Когда Катрин спросила ее о самочувствии, тетушка неожиданно залилась слезами.

– Прости меня, моя девочка, – всхлипывала она. – Меня заставили солгать. Я не была больна.

Катрин не стала спрашивать, кто и как ее заставил. И так все было ясно.

3

– Алиша! – повторил Муравьев, теперь уже с чисто легким восклицанием, словно подтверждающим его уверенность, что здесь, в Лондоне, никого другого он и не мог встретить.

– Узнал-таки, – вздохнула Хелен, и вздох ее тоже получился неопределенным – то ли досадливым, то ли радостным.

Но с чего бы ей радоваться? – подумал Муравьев. Да, впрочем, и досадовать – тоже. Ноги тогда унесла, и ладно – по военному времени могли бы и расстрелять. А в Иркутске, когда Вагранов доставил их с Остином, даже и не встретились. Иван доложил, что агенты перехвачены, их и отправили в Петербург со всем внешним почтением, прикрывающим глубинное презрение. В российской провинции так частенько относятся к иностранцам. В отличие от столиц, где почтение подчеркивает пресмыкательство.

– Вы меня остановили – почему? – Николай Николаевич своим «вы» сразу установил дистанцию между ними – в крепости Бомборы он говорил ей «ты». Впрочем, она всегда была с ним на «вы». Даже в постели.

– А вы как думаете? – Она снова рассмеялась, на этот раз с явной неприязнью.

– Думаю, будь ваша воля, вы бы с удовольствием подзудили всю эту газетную сволоту, чтобы я на себе почувствовал силу английского кулака. Как на Кавказе подзуживали убыхов.

– О да, я бы так и поступила, но... – Она всплеснула руками, вложив в этот жест все свое разочарование. – Да, жаль, очень жаль! Знаете, генерал, увидеть вашу побитую физиономию – это было бы даже не удовольствие, а самое настоящее наслаждение.

– Боюсь, ваши записные Цицероны, да и вы сами испытали бы разочарование, – сухо сказал Муравьев. – У меня есть чем ответить на ваши хуки и апперкоты.

– Возможно. Однако здесь, в сквере, пять минут назад, мне ничто не помешало бы поквитаться с вами, – уже откровенно зло сказала мадам Остин.

– Это за что же? – искренне удивился Николай Николаевич. – В Бомборах я вас ничем не обидел, скорее, вы нам приносили вред. А то, что случилось на Шилке... Вагранов просто спас вас с супругом от гибели, его благодарить надо. Ну а отправили обратно – не обессудьте, кто же будет терпеть шпионов у себя под боком? Английские власти на моем месте церемониться бы не стали: шлепнули за милую душу. Что, скажете, нет? Да ладно, можете не отвечать, я и сам знаю: шлепнули бы. Так зачем я вам понадобился, my darling²⁶?

Хелен открыла сумочку и извлекла из нее что-то свернутое в трубку. Прежде чем развернуть, глянула в лицо генерала, освещенное газовыми фонарями, стоящими вдоль центральной дорожки сквера; она словно тянула время, пытаясь вызвать его заинтересованность. Но Муравьев ждал с невозмутимым видом. Хелен медленно развернула свиток и повернула его так, чтобы свет от фонарей падал на него.

– Вам знакомо это лицо?

Муравьева качнуло, будто он получил внезапно тот самый апперкот: слегка повернув голову, на него смотрела Катрин с портрета Гау, того, который он не смог выкупить и который достался князю Барятинскому.

– Откуда он у вас? – севшим до сипоты голосом спросил генерал.

– Значит, знакомо. – Хелен свернула плотную бумагу в трубку и убрала свиток в сумочку. – Надеюсь, вы понимаете, что означает наличие у нас этого портрета?

– Его выкрали у князя Барятинского...

²⁶ My darling – моя дорогая (англ.).

– Скажем так: позаимствовали на память. Но я спрашиваю не о том, как он у нас появился, а – для чего?

– Для чего? – повторил Николай Николаевич. Понял, что прозвучало глуповато, но он все еще не пришел в себя от появления в его жизни снова этого прекрасного и в то же время злополучного портрета, и в голове гуляли завихрения.

– Как я держала сейчас в руках портрет вашей жены, так мы держим в руках ее саму. Пока что фигурально, – добавила Хелен, с удовольствием отметив, как дернулся Муравьев, – однако в любой момент это может случиться фактически...

– Не смейте мне угрожать! – хриплым от ярости голосом перебил ее генерал.

– Это не угроза, а предупреждение, поскольку все зависит от вас, my darling.

Хелен просто купалась в волнах бессильной (как она считала) ярости могущественного генерал-губернатора, от взгляда и слова которого трепетала половина России. Как же умен и дальновиден сэр Генри, думала она, что не позволил мне тривиально убрать этого пошлого чиновника. Не-ет, вот так вот подцепить на крючок, чтобы затрепыхался, холодным потом покрылся и на что угодно был готов – это и есть высший класс профессионала-разведчика. Пусть противник оценит твои возможности, твою власть над его слабостями, пусть прочувствует неизбежность своего падения – и он весь твой, со всеми потрохами. И сэр Генри даже повторил со вкусом: *with all giblets*²⁷!

– Вы, очевидно, хотите, чтобы я остановил продвижение России на Амур? – сдержав себя, хмуро спросил Муравьев. – Так я сразу скажу: машина запущена, и у российского императора нет видимых причин, чтобы ее остановить.

Он говорил внешне спокойно, а внутри все трепетало в тревоге за Катрин. От этих негодяев-джентльменов можно ожидать чего угодно: они ведь действуют, опираясь лишь на голый расчет. И, между прочим, убеждены, что так и должен вести себя нормально мыслящий человек. Об этом ему поведал в одну из встреч в Петербурге Лев Алексеевич Перовский, много общавшийся с британцами по окончании битвы при Ватерлоо, участником которой ему довелось быть, и в командировках в Англию после назначения его министром уделов и управляющим кабинетом его величества.

– Мы хорошо знаем принципы работы вашей машины. От вас требуется только одно – не форсировать сплавы по Амуру. Все остальное выполнят ваши бюрократы. Вернее, не выполнят, если ваш император не будет их пинать.

– Я три года долбил как дятел: нужны сплавы, нужны сплавы, нужны сплавы, – и вдруг замолчу? У кого-то это, конечно, вызовет облегчение, но у императора – точно! – подозрение, мол, что-то тут не так. – Муравьев задумался. Хелен ждала. – Другое дело – если сплав запустить, и он провалится – к примеру, из-за непроходимости Амура.

– Это самое лучшее, что можно придумать! – искренне воскликнула Хелен.

– Вы так думаете? – Муравьев тяжело посмотрел на нее. – Хорошо, примем этот вариант. И что, мне надо что-то подписать?

– Нет. Мы используем более надежный способ.

– И какой же? – по-прежнему мрачно полюбопытствовал генерал. А сам подумал: наверное, устроят что-нибудь компрометирующее. Ну и пусть, сейчас главное – увезти Катюшу из Европы, а там – бог не выдаст, свинья не съест.

– Если вы нас обманете, наш удар возмездия будет абсолютно неожиданным и сокрушительным.

Такая фраза из уст хорошенькой женщины прозвучала столь высокопарно, что Муравьев невольно усмехнулся. Хелен оскорбилась:

– Это слова моего шефа, а он их на ветер не бросает.

²⁷ *With all giblets* – со всеми потрохами (англ.).

– Не сомневаюсь. – Муравьев покосился на сумочку в ее руках. – А вот насчет портрета – нельзя ли...

– Нельзя, – оборвала Хелен. И добавила, смягчая резкость: – Это собственность отдела, генерал, и не в моей компетенции ею распорядиться.

Он кивнул: мол, понимаю, понимаю...

Она встала. Поднялся и Муравьев.

– Прощайте, my darling general! – Под ее насмешливостью он вдруг с удивлением различил нотку горечи и не смог на нее не откликнуться, напомнив ей о недавнем прошлом:

– Прощайте... Алиша.

Она вскинула голову, встречая его грустный взгляд, отвернулась, шагнула от скамьи, но сразу обернулась:

– Кстати, наша машина тоже запущена, и в день X произойдет то, что должно произойти. Опередить нас вы не сможете, устоять – тоже, так давайте хотя бы избежим лишних жертв с обеих сторон.

– Это касается и моей жены, – твердо и тяжело сказал Николай Николаевич. – Учтите, если с ее головы упадет хоть волос...

– Не упадет, – ответила она, уже уходя. – Делайте свое дело.

– Вот именно: делай свое дело, и будь что будет, – задумчиво произнес генерал, глядя ей вслед.

Глава 7

1

– Сашенька! – Николай Романович Ребиндер со вскрытым письмом в руке прошел в будуар жены. – Ты только взгляни, Сашенька, от кого мне пришло послание. От самого канцлера Нессельроде!

Александра Сергеевна сидела за пяльцами – вышивала. Она тяжело переносила первую беременность – всего-то три месяца! – и домашний доктор посоветовал ей для отвлечения внимания от тошноты заняться рукоделием. Екатерина Ивановна Трубецкая «во глубине сибирских руд» обучилась сама разным видам вышивания и научила всех четырех дочерей, так что Саша с большой охотой последовала совету врача. Более того, май-мачинский амбань, узнав о недуге юной жены кяхтинского градоначальника, прислал мастерицу сучжоуской вышивки шелком по шелку, и та научила Сашеньку этому древнему искусству. Чтобы вышить даже простенькую картинку по-сучжоуски, нужно потратить месяцы кропотливого труда, а именно это и требовалось в Сашином положении. Она выбрала сюжет «Бабочки на цветах вишни» и уже третью неделю с удовольствием занималась им, стараясь путем тщательного подбора ниток передать тончайшие оттенки рисунка. После завтрака и прогулки садилась за пяльцы и не отрывалась до обеда. Вот и сейчас муж застал ее столь увлеченной работой, что она даже не слышала его слов и шагов. Пяльцы стояли у окна, чтобы было удобным освещение: солнечный свет пробивался через кисею летних штор, обрисовывая тонкий изящный профиль, оттененный волнистыми каштановыми волосами.

Николай Романович остановился в дверях, любуясь своей красавицей женой, и в сотый раз уже, наверное, восторженно ужаснулся про себя, что эта прекрасная женщина, которая на двадцать лет моложе, из княжеской семьи, любит его, обыкновенного дворянина, каких сотни и тысячи, который всего лишь три года как произведен в действительные статские советники. Отслужив девять лет в Министерстве внутренних дел в должности вице-директора Департамента духовных дел иностранных исповеданий, он с одушевлением принял назначение на пост первого градоначальника Кяхты, видя в том хорошие карьерные перспективы. Собственно, генерал-губернатор Муравьев эту должность и пробивал в министерстве именно под него, Ребиндера, потому что на столь важном пограничном посту ему нужен был человек, разбирающийся в правилах внешней торговли и таможенной службы, а у Николая Романовича за чиновничьими плечами были и Департамент внешней торговли, и Гродненский таможенный округ. А Департамент духовных дел, где все было расписано от сих до сих, надоел ему хуже горькой редьки. И вот он приехал в стольный град Иркутск, где генерал-губернатор лично ввел его в круг декабристов, был приглашен в дом Трубецких, с первого взгляда влюбился в двадцатилетнюю Сашеньку, очертя голову посватался и, к своему изумлению, получил согласие и самой девушки, и ее родителей.

Ребиндеры в Кяхте были просты в общении, доступны, а Александра Сергеевна вообще стала украшением довольно многолюдного троицко-савского света, который составляли купцы, офицеры пограничной стражи, чиновники городской управы и таможни, учителя трех местных училищ и ремесленной школы и, разумеется, их семьи.

Жизнь тут, можно сказать, кипела. Кяхта уже более ста лет была центром российско-китайской торговли, через нее ввозился чай не только для Российской империи, но и для всей Западной Европы (его там даже называли не китайским, а русским чаем). Купечество ширилось и богатело, однако было весьма недовольно ограничениями, наложенными на торговлю Министерством финансов, в первую очередь тем, что запрещено было торговать на

деньги – только на обмен товарами. Министры финансов – Канкрин, Вронченко и Брок – опасались вывоза из России золотых и серебряных монет и налагали на генерал-губернаторов обязанность бороться с контрабандой монеты. Муравьев поначалу безропотно принял эти правила и даже способствовал осуждению купца первой гильдии Маркова, которого три года продержали в тюрьме за найденные у него 14 тысяч рублей серебром, якобы приготовленные для контрабанды в Китай. Однако времена изменились, меновая торговля стала тормозить развитие, и генерал-губернатор, как человек, склонный к реформам и новациям, все настойчивей предлагал правительству введение торговли за деньги. Николаю Романовичу он поручил провести тщательный анализ торговых операций для своего доклада в Петербурге, чем тот занимался с прилежанием и удовольствием.

А в конце июня, когда Муравьев был за границей, китайцы из Маймачина вдруг сообщили Ребиндеру, что создается комиссия для установки пограничных знаков по левому берегу Амура от Горбицы и ниже, согласно листу правительства России. Николай Романович, зная, что исправляющий обязанности генерал-губернатора Венцель на ответные действия не уполномочен, о возникшей ситуации напрямую отписал в Министерство иностранных дел. И вот получил письмо от самого графа Нессельроде.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.